

☼
СТЕФАН
ЦВЕЙГ

• ВРЕМЯ •





Stefan Zweig
DIE UNSICHTBARE
COLLECTION

Обложка работы
М. А. Кирнарского

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

**С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО**

**И КРИТИКО-БИОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА**

**ТОМ
IV**

**КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД**

СТЕФАН ЦВЕЙГ

НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

П Е Р Е В О Д
П. С. БЕРНШТЕЙНИ
И. Е. ХАРОДЧИНСКОЙ

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД — 1929

Л Е П О Р Е Л Л А

ПЕРЕВОД И. С. БЕРНШТЕЙН

Ее христианское имя было Крещенца-Анна-Алоиза Финкенгубер. Ей было тридцать девять лет. Она родилась вне брака в горной деревушке Циллертала. В ее рабочей книжке в рубрике «особые приметы» была поставлена черта; но если бы чиновникам вменялось в обязанность давать характеристики, то самый беглый взгляд, брошенный на нее, без сомнения отметил бы ее сходство с загнанной ширококостной, тощей горной клячей. Что-то лошадиное было в тяжело свисавшей нижней губе, в продолговатом и резком овале смуглого лица, в тусклых глазах без ресниц и, главным образом, в смазанных жиром, гладко прилизанных волосах. И в ее походке бросалась в глаза неповоротливость, свойственная упрямым горным мулам, зимой и летом с угрюмым видом таскающим все тем же спотыкающимся шагом по тем же каменистым дорогам все те же груженные тележки вверх—в гору и вниз—в долину. Освободившись от рабочей узды, она имела обыкновение сидеть в полудремоте, скрестив костлявые руки, расставив локти, с затуманенным сознанием, как животные в конюшнях; она с трудом ворочала мозгами и соображала туго: каждая новая мысль, как сквозь густое сито, просачивалась в ее мозг; но раз восприняв что-нибудь, она жадно и упорно цеплялась за это. Она никогда не читала ни газеты, ни молитвенника, писать ей было трудно, и неуклюжие буквы в книге ее кухонных записей были похожи на ее собственную грубую, угловатую фигуру, в которой ничто не

напоминало о формах женщины. Столь же жестким, как ее кости, лоб, бедра и руки, был ее голос, который звучал ржаво, несмотря на густые гортанные тирольские звуки; но в этом нет ничего удивительного, ибо Крещенца никогда не имела друга, и не с кем ей было обменяться лишним словом. Никто не видел ее смеющейся, и в этом тоже сказывалось ее сходство с животным, ибо неосмысленное творение лишено возможности выражать свои чувства, что является, может быть, более жестоким, чем отсутствии речи.

Незаконнорожденная, воспитанная общиной, она в двенадцать лет уже была отдана в услужение, потом поступила судомойкой в трактир и, наконец, из этого извозничьего кабака, благодаря своей упорной, иступленной страсти к труду, которой она обращала на себя внимание, попала в кухарки хорошей гостиницы для туристов. Каждое утро она поднималась в пять часов и бралась за работу—мела, гомила, чистила, убирала, стряпала, месила, катала, выжимала, стирала—и так возилась до поздней ночи. Никогда она не пользовалась отпуском, никогда не выходила на улицу, кроме тех дней, когда посещала церковь. Круглая, горящая под плитой колода заменяла ей солнце; тысячи поленьев, которые она колола в течение года, заменяли лес.

Мужчины оставляли ее в покое. Оттого ли, что почти тридцать лет тяжелой работы стерли с нее всю женственность, оттого ли, что она упрямо и молчаливо отталкивала всякую попытку сближения. Единственная ее радость заключалась в деньгах, которые она с кротовым инстинктом крестьян и старых дев упорно копила, чтобы на старости лет не пришлось снова жевать в богадельне горький хлеб общественной благотворительности.

Исключительно из-за наживы это тупое существо оставило в тридцать семь лет свою тирольскую родину.

Профессионалка-посредница, которая во время летнего отдыха наблюдала за ее возней в кухне и комнатах, переманила ее обещанием двойного заработка в Вену. За всю дорогу Крещенца не проронила ни звука и держала тяжелую корзину со своим имуществом на наболевших коленях, отказавшись от помощи соседей, предлагавших поставить ее на верхнюю полку: ибо обман и воровство были единственными мыслями, которые возникали в ее крепкой крестьянской голове в связи с представлением о большом городе. В Вене приходилось первые дни провозить ее на рынок, так как она боялась экипажей, как корова автомобиля. Но как только она ознакомилась с четырьмя улицами, ведущими к рынку, она больше ни в ком не нуждалась, она шагала со своей корзиной, не подымая глаз, до рынка и обратно, мела, топила, возилась у новой плиты так же, как у прежней, не замечая разницы. В девять—обычный для деревни час—она ложилась в постель и спала, как животное, с открытым ртом, пока будильник не подымал ее утром. Никто не знал, как она себя чувствует, и она сама не думала об этом; ни с кем она не сближалась, отвечала на приказания «ладно, ладно» или, если они ей не нравились, упрямым движением подымала плечи. Соседей и служанок своего дома она не замечала; их насмешливые взоры и шушуканье стекали, как вода, с толстой шкуры ее равнодушия. Только раз, когда одна девушка передразнила ее тирольский говор и не переставала насмехаться над ней, она вдруг выхватила из-под плиты горящую головню и бросилась на заоравшую от ужаса девушку. С этого дня все избегали неистовой женщины, и никто не осмеливался задевать ее.

В воскресенье утром она отправлялась в широкой юбке с фалдами и плоском деревенском чепце в церковь. Один раз, в свой первый свободный день, она отправилась

прогуляться, но, не желая воспользоваться трамваем и не видя во время своей осторожной прогулки ничего, кроме каменных стен, она дошла только до Дуная; там она пристально смотрела, как на что-то знакомое, на быстро текущую воду, потом повернулась и зашагала обратно тем же путем—вдоль домов, избегая мостовой. Эта первая и единственная разведочная прогулка, должно быть, разочаровала ее, так как с тех пор она никогда не покидала дома и предпочитала в воскресный день сидеть с шитьем или с пустыми руками у окна. Так большой город не внес ничего нового в толчею ее дней; разница заключалась лишь в том, что в конце каждого месяца она сжимала в своих огрубелых, обожженных и покрытых ссадинами руках четыре голубых бумажки, вместо прежних двух; эти деньги она обычно рассматривала долго и недоверчиво, заботливо их разворачивала, разглаживала и присоединяла, наконец, к остальным, хранившимся в желтой резной деревянной коробке, которую она привезла из деревни. Эта неуклюжая грубая шкатулка хранила в себе всю тайну, весь смысл ее жизни. Ночью Крещенца прятала ключ от нее под подушку; где она его хранила днем, никто в доме не знал.

Таково было это странное человеческое существо (мы говорим так, хотя человеческое в нем сказывалось лишь в очень тусклом и скрытом виде). Но может быть для работы в также чрезвычайно странном хозяйстве молодого барона фон Ф. требовалось именно существо с таким, ограниченным шорами, затуманенным мышлением. Ибо обычно слуги не могли вынести сварливой атмосферы этого дома дольше, чем требовал закон для отказа от службы. Хозяйке дома был свойствен раздраженный, доходящий до истерики, тон. Немолодая дочь очень богатого эссенского фабриканта, она познакомилась на одном из курортов с молодым бароном, отпрыском не очень старого и почти

разоренного дворянского рода, и поторопилась выйти замуж за этого очаровательного ветренника, изощренного в искусстве аристократического шарма. Но не успел отлететь медовый месяц, как новобрачная должна была убедиться в справедливости сопротивления столь поспешному браку, проявленного ее родными, настаивавшими на более солидном и более серьезном выборе. Ибо, помимо обнаружившихся многочисленных долгов, она убедилась, что быстро пресытившийся барон стал больше внимания уделять своим холостяцким привычкам, чем супружеским обязанностям. Нелишенный добродушия, веселый от природы, как все легкомысленные люди, но необузданный в своих поступках, он презирал помещение капитала на процентных началах и считал это бессмысленной алчностью, присущей людям плебейского происхождения. Когда, несмотря на ее богатство, ему пришлось выпрашивать всякую более или менее значительную сумму, и когда расчетливая супруга отказала ему даже в исполнении его самого горячего желания—в приобретении скаковых лошадей,—он перестал усматривать надобность в ласковом обращении с широкоплечей массивной северянкой, оскорблявшей своим громким, повелительным голосом его слух. Он спокойно отворотил от нее, как говорится, свой взор и без всякой резкости отстранил от себя разочарованную женщину. Когда она осыпала его упреками, он выслушивал их вежливо, даже участливо, но как только она умолкала, он вместе с табачным дымом отгонял в пространство ее увещания и продолжал жить согласно своим вкусам. Эта вылощенная, почти официальная любезность озлобляла оскорбленную женщину пуше всякого сопротивления, и, обезоруженная его непроницаемой вежливостью, она обращала накопившуюся злобу в другую сторону: она воевала с прислугой, жестоко вымещая на ни в чем неповинных людях свой справедливый,

но не по адресу направленный гнев. Последствия не замедлили сказаться: в течение двух лет ей пришлось шестнадцать раз сменить прислугу; однажды дело дошло даже до побоев и кончилось благополучно лишь благодаря значительному денежному возмещению.

Только Крещенца, как извозчицья кляча под дождем, невозмутимо стояла под этим бурным натиском. Она не переходила ни на чью сторону, не интересовалась никакими переменами и как-будто не замечала, что у разделявших с ней помещение чужих существ менялись имена, цвет волос, запах тела и поведение. Она ни с кем не разговаривала, не слышала, как с шумом хлопали дверьми, не обращала внимания на прерванные обеды, на обмороки и истерические выпады. Она безучастно, деловито ходила из кухни на рынок, с рынка опять в свою кухню; все, что выходило из этого очерченного круга, ее не касалось. Как цепом, бессмысленно и круто разбивала она один за другим свои дни, и два года жизни в большом городе, ни на йоту не расширив ее кругозора, протекали без всяких событий; только кучка накопленных голубых бумажек в шкатулке поднялась на вершок, и когда, к концу года, она влажными пальцами пересчитывала бумажку за бумажкой, она замечала, что магическая тысяча уже не за горами.

Но случай располагает алмазными буравами, и судьба грозным напором умудряется неожиданно проникнуть в самую твердокаменную натуру и произвести в ней грандиозное потрясение. Для Крещенцы внешний повод был столь же несложен, как она сама: после десятилетнего перерыва государству заблагорассудилось предпринять перепись населения, и во все дома для точного подсчета были посланы чрезвычайно сложные листки. Относясь недоверчиво к каракулям слуг, верным лишь с фонетической точки зрения, барон предпочел сам заполнить бланки и для этой

цели велел и Крещенце явиться к нему в комнату. Он задавал ей вопросы об имени, возрасте и месте рождения, и при этом выяснилось, что, как страстный охотник и друг владельца тех мест, он часто охотился за дикими козами в ее родном уголке Альп, и что проводник, две недели служивший ему, был ее земляком. Так как оказалось, что этот проводник приходился Крещенце дядей, а барон был в хорошем настроении, то между ними завязался продолжительный разговор, в котором обнаружилось, что в той гостинице, где готовила Крещенца, он ел великолепную оленину, и что он и по сегодня помнил все эти мелочи, удивительные лишь своим случайным совпадением, но представлявшиеся Крещенце, встретившей здесь впервые человека, знавшего ее родину, просто чудом. Она стояла перед ним с красным возбужденным лицом и неуклюже сгибалась, смеясь его шуткам; ловко подражая тирольскому говору, он спросил ее, умеет ли она выделывать тирольский «Йодль»¹⁾, и, увлеченный этими мальчишескими выходками, окончательно развеселившись, он ударил ее по деревенскому обычаю пониже спины и, смеясь, сказал ей:

— Теперь ступай, Ченци, и вот тебе гульден за то, что ты из Циллтерталя!

Конечно, само по себе это происшествие не было ни погрязающим, ни значительным, но на подсознательное чувство этого тупого существа пятиминутный разговор произвел такое же действие, как камень, брошенный в болото: лишь постепенно и лениво образует он расходящиеся круги, грузными волнами медленно добираясь до берега сознания. В первый раз за многие годы это упорно молчаливое существо завело разговор, и сверхъестественным показалось ей, что первый человек, заговоривший с ней в этом каменном

¹⁾ Своеобразное гортанное пение с руладами.

нагромождении, знал ее родные горы и даже когда-то сл зажаренную ею оленину. Прибавьте к тому же шутливый шлепок, который на деревенском языке заменяет обстоятельные разговоры и содержит в себе лаконическое предложение женщине; если Крещенца и не осмелилась подумать, что этот эlegantный, важный господин действительно выразил по отношению к ней желание, то все же эта физическая интимность как-то вырвала ее из обычного сонного оцепенения.

И вот, благодаря этому случайному поводу, на ее внутренней тверди начало отлагаться слой за слоем новое чувство, сходное с той непоколебимой уверенностью, с которой собака в один прекрасный день признает в одном из окружающих ее двуногих существ своего хозяина; с этого часа она бежит за ним, приветствует лаем или вилянием хвоста предназначенного ей судьбой повелителя и покорно следует за ним по пятам. Точно так же проник в узкий кругозор Крещенцы, ограниченный пятью или шестью понятиями — деньги, рынок, плита, церковь и постель,—новый элемент, который надо было вместить, и который резким толчком отодвинул все остальное на задний план. С алчностью она вобрала внутрь, в смутный хаос своих тупых чувств этот новый элемент. Правда, это превращение тянулось довольно долго, и первые проблески его были едва заметны. Она чистила, например, костюмы и ботинки барона с особенной фанатической заботливостью, в то время как платье и обувь всех остальных обитателей дома предоставляла заботам горничной; появлялась чаще прежнего в коридоре и комнатах; услышав поворот ключа в замке входной двери, торопилась встретить барона, чтобы принять из его рук пальто и палку. С исключительным старанием она приготавливала блюда и разузнала даже не без труда дорогу к главному рынку, специально для того, чтобы

добыть олеяну. Она стала также тщательнее заботиться о своей внешности.

Прошла неделя или две, пока эти первые ростки неиспытанных чувств стали пробиваться из ее внутреннего мира. И прошли еще недели и недели, пока вторая мысль прибавилась к первому ростку и из неоформленной превратилась в яркую и образную. Это второе чувство было лишь дополнением к первому: ненависть, — сначала неосознанная, но постепенно определившаяся и открыто выступившая ненависть к сварливой, невыносимой хозяйке. Оттого ли, что она — теперь внимательная к окружающему — присутствовала при одной из унижительных сцен, когда обожаемого хозяина самым отвратительным образом оскорбляла раздраженная супруга, оттого ли, что на ряду с его веселой непринужденностью вдвойне выделялась надменная сдержанность этой северянки, — так или иначе, но Крещенда вдруг противопоставила ей какое-то упорство, щетинистую враждебность, сопровождавшуюся тысячью колкостей и злобой. Хозяйка бывала, например, вынуждена не менее двух раз позвонить, прежде чем она с нарочитой медлительностью и явным пренебрежением являлась на ее зов, при чем ее высоко поднятые плечи уже заранее выражали решительное сопротивление. Поручения и приказания она принимала молча и угрюмо, так что хозяйка никогда не знала, верно ли та ее поняла, а в ответ на повторение Крещенда хмуро кивала головой или презрительно бросала: «Я слышала». Или перед самым выездом в театр, когда баронесса нервно носилась по комнатам, вдруг обнаруживалось, что не хватает какого-нибудь нужного ключа; через полчаса на него неожиданно натыкались где-нибудь в углу. Передачу поручений и телефонные вызовы ей угодно было забывать; призванная к ответу, она без малейшего раскаяния или сожаления цедила: «Ну, что

же, я забыла!» Она не смотрела хозяйке в глаза, быть-может опасаясь, что не сумеет скрыть свою вражду.

Между тем, домашние неурядицы порождали все более неприятные сцены; быть-может, раздражающая сварливость Крещенцы послужила отчасти неосознанным поводом для возрастающей нервности хозяйки, нервности, доходившей до крайнего возбуждения. При расслабленных, вследствие позднего замужества, нервах, озлобленная равнодушием своего супруга и дерзкой враждебностью слуг, измученная женщина все более и более теряла равновесие. Тщетно успокаивали ее возбуждение бромом и вероналом: от этого лишь резче прорывалось напряжение нервов при каждом недоразумении; с ней делались истерики, но никто этим не интересовался, никто не оказывал ей помощи и не проявлял к ней ни малейшего сострадания. В конце-концов, врач посоветовал двухмесячное пребывание в санатории; это предложение было так горячо одобрено супругом, что она, преисполненная недоверием, тем более не хотела согласиться. Но все же поездка была решена, баронессу сопровождала горничная, а Крещенце поручено было остаться одной в обширной квартире для услуг хозяину.

Известие, что барон всецело предоставлен ее заботам, произвело как бы взрыв в неповоротливом мозгу Крещенцы. Все ее соки и силы подверглись бешеной встряске; словно взболтали волшебную бутылку; и из недр ее существа поднялись залежи страсти, заново окрасившие ее поступки. Скованность, тяжеловесность внезапно спали с ее твердых, застывших членов; казалось, эта весть наэлектризовала ее суставы, дала ей быструю упругую походку. Она бегала по комнатам, летала вверх и вниз по лестницам; когда начались приготовления к отъезду, она упаковывала, не ожидая приказаний, все сундуки и тащила их собственными руками к экипажу. А когда поздно вечером барон вернулся, вручил

услужливо подоспевшей женщине пальто и палку и со вздохом облегчения вымолвил: «Благополучно сплавил», — произошло нечто из ряда вон выходящее: сомкнутые губы Крещенцы, которая, словно животное, никогда не смеялась, вдруг стали напряженно подергиваться и шириться. Рот скривился, перекосясь, и внезапно вырвался из этого идиотски сиявшего существа открытый и животнo-неудержимый смех; барин, неприятно пораженный этим зрелищем, устыдился своей неуместной фамильярности и молча прошел к себе.

* * *

Но этот миг неприятного ощущения быстро умчался, и в последующие дни обоих, барина и служанку, связало общее наслаждение тишиной и благодатной свободой. Отсутствие хозяйки точно очистило атмосферу от тяжело нависших туч: счастливый супруг, освобожденный от неизбежных отчетов, в первый же вечер пришел домой поздно, и молчаливое усердие Крещенцы явилось приятным контрастом слишком многоречивым приемам, оказываемым ему женой. Крещенца со страстным воодушевлением бросалась в работу, вставала рано, снимала в комнатах каждую пылинку, чистила ручки и замки, как одержимая, составляла волшебные меню, и к своему удивлению барон заметил, что для него одного ставился дорогой сервиз, обычно хранившийся в специальном шкафу и вынимавшийся лишь в особо торжественных случаях. В общем невнимательный к хозяйственным мелочам, он не мог не заметить бдительную, почти нежную заботливость этого странного существа и, побуждаемый своим добродушием, он не скупился на выражения удовольствия. Он хвалил блюда, иногда награждал Крещенцу добрым словом, и когда на следующее утро, в день его именин, она спекла торт с его инициалами

и искусно сделанным из сахара гербом, он шаловливо улыбнулся ей:

— Ты меня избалуешь, Ченци, что же я буду делать, если, упаси боже, вернется моя жена?

Все же несколько дней он соблюдал еще некоторую сдержанность. Но потом, уверившись по некоторым признакам в ее молчаливости, он, обратившись в холостяка, решил себе все удобства в собственной квартире. На четвертый день после отъезда жены он позвал к себе Крещенцу и без дальнейших объяснений равнодушным тоном велел ей приготовить холодный ужин на двоих и лечь спать; все остальное он пожелал сделать сам. Ни взглядом, ни словом она не дала ему повода заподозрить, что ее тупое мышление восприняло это приказание, как нечто необычное. Но он с приятным изумлением убедился, что она хорошо поняла его намерения; когда он вернулся из театра в сопровождении молоденькой ученицы оперной школы, он нашел не только великолепно накрытый, убранный цветами стол, но и в спальне, рядом со своей кроватью, нагло манящую к себе соседнюю кровать посланной, при чем на видном месте были приготовлены халат и туфли его жены. Освобожденный муж невольно улыбнулся далеко зашедшей заботливости, и вместе с тем сама собой отпала последняя преграда к сообщничеству Крещенцы. Утром он позвонил ей, велел помочь милой гостье одеться, и, таким образом, молчаливое согласие между обоими было окончательно закреплено.

В эти дни Крещенца получила новое имя. Веселая артистка, которая как раз изучала партию донны Эльвиры и в шутку величала своего нежного друга Дон-Жуаном, сказала ему как-то, смеясь: «Позови свою Лепореллу». Это имя понравилось ему, потому что оно необычайно выпукло пародировало сухую тирольку, и с тех пор он ее иначе

и не называл. Крещенца, сначала удивившаяся, но прельщенная благозвучием непонятого ей имени, приняла это переименование, как особую фамильярность: каждый раз, когда он в шутку называл ее этим именем, ее тонкие губы раздвигались, точно занавес, обнажая оскал зубов, и покорно, точно виляя хвостом, она приближалась, чтобы, сияя, принять приказание или поручение.

Это имя было придумано, как пародия; но с невольной меткостью будущая оперная дива облачила своеобразное существо в изумительно подходящее одеяние, ибо эта не знавшая любви, высохшая старая дева испытывала гордую радость от похощений своего господина. Было ли это лишь удовлетворение при виде развороченной то одним, то другим молодым телом постели ненавистной женщины, или в ее сознании шевелилось тайное наслаждение богато и расточительно проявлявшей себя мужской силой ее господина,—но эта набожная строгая старая дева выказывала почти страстное усердие, помогая всем похощениям своего повелителя. Без участия своего изнуренного десятилетиями тяжелой работы и ставшего бесполом тела, она приятно согревалась своднической радостью, наблюдая за второй и третьей женщинами, переступившими за эти несколько дней порог спальни: эти визиты и прятный, насыщенный эротикой воздух действовали возбуждающе на ее застывшие чувства. Крещенца становилась, действительно, Лепореллой и делалась такой же подвижной, услужливой и живой, как тот веселый малый; странные качества, точно ее пламенное сочувствие заставило их разлиться горячим потоком по всему ее существу, обнаружили в ней: способность к разным ухищрениям, лукавство, изощренность, что-то насторожившееся, любопытное, выслеживающее и суетливое. Она прилипала к дверям и скважинам, обшаривала комнаты и кровати, летала, гонимая непонятым возбуждением

вверх и вниз по лестницам, когда охотничьим инстинктом чуяла новую добычу, и постепенно это постоянное бдение, это полное любопытства участие создавали что-то в роде живого человека из прежней пустой и угловатой деревянной оболочки. К общему изумлению соседей, Крещенца стала обходительной, болтала с девушками, отпускала тяжеловесные шутки почтальону, разговаривала и сплетничала с продавщицами, и однажды вечером, когда свет во дворе погас, служанки из другой квартиры слышали какое-то странное мурлыканье, доносившееся через двор из молчаливого окна: неуклюже, тихим, скрипучим голосом Крещенца тянула одну из тех альпийских песенок, которые поют пастушки вечером на лугах. Исковерканная непривычными губами, тяжело проталкивалась наружу однообразная мелодия; но это было удивительно трогательно и странно. Впервые с детских лет Крещенца попробовала петь, и в этих спотыкающихся звуках, с трудом воскресавших из мрака погребенных лет, было что-то потрясающее.

Для барона, невольного виновника этого преобразования преданной ему девушки, оно осталось незамеченным. И в самом деле: кому же придет в голову следить за своей тенью? Чувствуешь, как она верно и безмолвно следует по твоим стопам, иногда забегая вперед, как неосознанное желание, но редко кому взбретет на ум измерить эти пародийные формы и следить за их изменениями. Барон отметил только, что она была неизменно готова к услугам, рабски предана и всегда на месте. Именно это безмолвие и доставляло ему особенное удовольствие. Иногда он небрежно бросал ей несколько добрых слов или одобрительный жест,—точно погладит собаку; раз, другой пошутил даже с ней, милостиво дернул ее за ухо, дарил ей деньги или билет в театр; для него—безделки, беззаботно вынутые из жилетного кармана, но для нее—реликвии, которые

она благоговейно прятала в свою деревянную шкатулку. Постепенно он привыкал думать в ее присутствии вслух и доверял ей самые интимные поручения; и чем больше он давал ей доказательств своего доверия, тем большей благодарностью и старанием она преисполнялась. В ней проявлялись постепенно удивительный нюх, чутье, инстинкт охотничьей собаки, и с их помощью она выслеживала все его желания и даже предупреждала их; вся ее жизнь, мечты и стремления как-будто слились с его существованием; на все она смотрела его глазами, прислушивалась к его переживаниям, наслаждалась с почти порочным воодушевлением всеми его радостями и победами. Она сияла, когда новал женская фигура появлялась на пороге, казалась разочарованной и точно обманутой в своих ожиданиях, когда он вечером возвращался один, не сопровождаемый нежной женщиной. Ее медлительная мысль работала теперь так же быстро и ретиво, как раньше работали ее руки; ее теперь внимательный взор блестел и сверкал новым светом. Пробудилась человеческая душа в загнанной, усталой рабочей кляче—темная, замкнутая, хитрая и опасная, размышляющая и озабоченная, беспоконная и коварная.

И однажды, когда барон раньше времени вернулся домой, он удивленно остановился в коридоре: не раздавались ли за кухонной дверью, неизменно немой, хихиканье и смех? И вот, с растопыренными пальцами, теребящими передник, выглянула из полукрытой двери Лепорелла, наглая и в то же время смущенная.

— Извините, барин,—сказала она, блуждая по полу глазами.—Там дочь кондитера... красивая девушка... она очень хотела бы познакомиться с барином.

Барон изумленно посмотрел на нее, не зная, рассердиться ли ему за эту неслыханную фамильярность, или

посмеяться над ее сводническим усердием. В конце-концов, любопытство взяло верх:

— Да, я погляжу на нее, — сказал он.

Белокурая, с хорошенькой мордочкой, шестнадцатилетняя девушка, которую Лепорелла ласковыми уговорами постепенно заманивала к себе, краснея и смущенно хихикая, вышла, подталкиваемая служанкой, и неуклюже вертелась перед элегантною мужчиной, за которым она с полудетским восторгом следила из окна магазина. Барон нашел ее миловидной и предложил ей выпить с ним в его комнате чашку чая. Не зная, согласиться ли ей, девушка повернулась к Крещенце, но та с необыкновенным проворством уже исчезла в кухне, и, таким образом, втянутой в приключение, охваченной любопытством девушке оставалось лишь, краснея, принять опасное приглашение.

* *
*

Но природа не делает скачков: если, под давлением причудливой и извращенной страсти, в этом толстокожем, отупевшем существе произошел некоторый духовный сдвиг, то, все же, спорадическое узкое мышление Крещенцы, как будто родственное инстинкту животных, не отличалось дальновидностью. Охваченная желанием угождать и собачьей преданностью своему господину, Крещенца совсем забыла об отсутствующей жене. Тем ужаснее было пробуждение для этого ненасытного и алчного существа, которое, захватив что-нибудь своими жесткими руками, никогда добровольно не разжимало их. Как гром с ясного неба, обрушились однажды утром на нее слова барона, который быстро и сердито вошел с письмом в руках и сообщил ей, что необходимо все приготовить в доме для предстоящего на следующий день приезда его жены из санатории. Бледная от испуга, Крещенца стояла с открытым

ртом, как прикованная: эта весть вонзилась в нее, как нож. Она пристально смотрела на барона, как-будто не понимая его. И таким безграничным испугом отразился этот удар на ее лице, что барон счел нужным несколько успокоить ее ласковым словом:

— Мне кажется, Ченди, это и тебя не радует. Но тут уж ничего не поделаешь.

Но вот что-то зашевелилось на ее каменном лице. Точно из сокровенной глубины поднялась жестокая судорога, покрывая багровой краской ее бледное лицо. Медленно, тяжелыми толчками, она подступала к горлу, и рука задрожала от гневного напряжения. Наконец, она прорвалась, и Крещенца глухо пробормотала сквозь стиснутые зубы:

— Тут... тут... можно... тут можно кое-что сделать!...

Жестко, как смертоносный выстрел, выпалила она эти слова, и так мрачно, так сурово задрожали искаженные черты ее лица от этого бурного разряда, что барон невольно испугался и отшатнулся, в изумлении. Но Крещенца уже отвернулась от него и с судорожным усердием стала чистить медную ступку, как-будто хотела переломать себе пальцы.

* *
*

С возвращением жены гроза снова забушевала в доме; баронесса с треском хлопала дверьми и угрюмо носилась по комнатам, выметая, как сквозным ветром, уютную атмосферу из квартиры. Может быть, благодаря соседским сплетням, обманутая узнала, как недостойно муж использовал свое право хозяина квартиры, может быть ее огорчило его почти откровенное недовольство при встрече, — во всяком случае, казалось, что эти два месяца, проведенные в санатории, принесли мало пользы ее нервам, так как

слезы сменялись угрозами или истерическими сценами. Отношения становились невыносимыми. Несколько дней барон мужественно сопротивлялся потоку упреков давно испытанным способом—вежливостью, отвечал уклончиво и умиротворяюще, когда она заговаривала о разводе и о письмах родным; но его холодное равнодушие увеличивало раздражение окруженной тайной ненавистью покинутой женщины.

Креценда замкнулась в молчании. Но в этом безмолвии было что-то вызывающее и опасное. При приезде хозяйки она не показала; когда ее позвали, она забыла поздороваться с возвратившейся и дала понять, что отсутствие барыни прошло незамеченным. С упрямо поднятыми плечами, она стояла, как колода, и так грубо отвечала на все вопросы, что нетерпеливая женщина быстро от нее отвернулась; но в одном взгляде Креценда швырнула всю скопившуюся ненависть ей в спину. Охваченная жадностью, она почувствовала себя обокраденной этим возвращением, от радости страстного наслаждения прежними обязанностями она была снова отброшена в кухню к плите, и интимное прозвище Лепореллы не звучало больше в ее ушах. Ибо из предосторожности барон избегал выказывать Креценде малейшее внимание в присутствии жены, несмотря на то, что втайне горестно ощущал контраст между приятными беззаботными неделями и снова наступившей брачной жизнью; иногда, подавленный отвратительными стычками и нуждаясь в чем-нибудь утешении, он тихонько прокрадывался к ней в кухню и садился на твердую табуретку, лишь бы иметь возможность горячо пожаловаться живому человеку: «Больше я этого не вынесу!».

Эти мгновения, когда он искал у нее убежища от чрезмерного напряжения, были для Лепореллы самыми счастли-

ливыми. Ни звука в ответ, ни слова в утешение; безмолвно, углубленная в себя, сидела она, изредка смотрела на него внимательным, полным сострадания взором, и это безмолвное участие благотворно действовало на него. Но когда он оставлял кухню, свирепая складка опять ложилась на ее лоб, и тяжелые руки вымещали весь гнев на беззащитном мясе или распыляли его в мытье посуды, ножей и вилок. Она опять ни с кем не разговаривала, никто не слышал ее пения. Она меньше спала, чем прежде, и часами ходила взад и вперед по кухне: с недавних пор новая мысль засела где-то в глубине ее мозга, и мучительное раздумье придавало ее взору что-то мрачное и угрожающее.

Наконец, мрачно сгущенная атмосфера возвращения разразилась грозой; во время одной из диких сцен барон потерял терпение, оставил покорную позицию выслушивающего нравоучения школьника, вскочил и с треском хлопнул дверь.

— Будет с меня!—крикнул он так гневно, что дверь комнаты задребезжала, и разгоряченный, с ярко пылающим лицом, он выбежал в кухню к дрожащей, как туго натянутый лук, Крещенде:

— Приготовь мне сейчас же мой чемодан и ружье! Я на неделю уеду на охоту. В этом аду сам черт не выдержит! С этим надо покончить!

Крещенда посмотрела на него, грубый смех вырвался из ее горла:

— Барин прав, с этим надо покончить.

Дрожа от усердия, бегая из комнаты в комнату, она поспешно собрала из шкафов и из столов все необходимое. Каждый нерв этого неуклюжего создания дрожал от напряжения и жадности. Своими руками она понесла ружье и чемодан к экипажу. И подыскивая слова, чтобы поблагодарить

ее за усердие, барон испуганно отвел глаза, ибо снова коварная усмешка широко ползла по ее сомкнутым губам, в то время как глаза угрожающе сверкали. Когда он увидел ее настороженный вид, ему невольно вспомнились готовые к нападению когти животного, но она опять съежилась и хрипло пробормотала с почти оскорбительной фамильярностью:

— Поезжайте с богом, я уж тут управлюсь!

* * *

Три дня спустя барон был вызван с охоты срочной телеграммой. На вокзале его встретил двоюродный брат. С первого же взгляда встревоженный барон понял, что стряслась какая-то беда, ибо брат имел нервный и расстроенный вид. После нескольких подготовительных слов он узнал, что его жена утром была найдена мертвой в постели, комната была наполнена газом. Не могло быть и речи о том, чтобы невнимательное обращение с газовой печкой, бездействующей в мае, могло послужить причиной смерти, и версия самоубийства подтверждалась еще тем, что несчастная вечером, по обыкновению, приняла веронал и, опьяненная им, была утром найдена в постели с синим лицом, без признаков жизни. К тому же кухарка Крещенца, единственная из слуг оставшаяся в этот вечер дома, показала, что слышала, как вечером несчастная хозяйка выходила в переднюю, очевидно для того, чтобы открыть тщательно закрытый газометр. Приняв во внимание это сообщение, полицейский врач исключил возможность случайности и составил протокол о самоубийстве.

Барон вздрогнул. Когда его двоюродный брат упомянул о показании Крещенцы, руки у него сразу похолодели: неприятная, отвратительная, вызывающая дурноту мысль зашевелилась в нем. Но он усилием воли подавил ее и

смущенный, безвольный, отправился с братом к себе. Покойной уже не было. В гостиной ждали родные, с мрачными и враждебными лицами, выражения сочувствия были холодны, как лезвие ножа. Их участие было только лишенным всякой задушевности исполнением долга вежливости. Желая уколоть его, они упомянули, что «скандала», к сожалению, не удалось замять, так как служанка утром убежала на лестницу, вопя: «Барыня лишила себя жизни»... Они устроили скромные похороны, особенно потому, — сказали они, снова остро подчеркивая свою холодность, — что уже до события любопытство общества, благодаря разным сплетням по поводу их брака, было неприятно возбуждено. Мрачный, полный смятения, он слушал их речи; невольно бросив взгляд на запертую дверь спальни, он трусливо отвел его. Ему хотелось довести до конца мысль, неотступно сверлившую его мучительным вопросом, но эта пустая и враждебная болтовня отвлекала его. Еще с полчаса мрачные, но разговорчивые родные оставались с ним, наконец, друг за другом они удалились. Он остался один в пустом полумраке комнаты, усталый, с тяжелой головой, дрожа, как от глухого удара.

Постучали в дверь. Он вздрогнул:

— Войдите.

И за его спиной раздались неуверенные знакомые шаги, тяжелые, медленные, шаркающие. Ужас внезапно охватил его: он не мог повернуть шеи, ледяная дрожь пробежала по нем от висков до колен. Он хотел повернуться, но мускулы не повиновались ему. Так он стоял посреди комнаты, дрожащий, безмолвный, с пустым взором и безжизненно повисшими руками, сознавая, как смешон его трусливый, виноватый вид. Но тщетно он старался выйти из этого оцепенения. И ровно, невозмутимо, с сухой деловитостью прозвучал за его спиной голос:

— Я хотела спросить, будет ли барин обедать дома?

Барон задрожал всем телом. Ледяная волна разлилась в его груди. Трижды он тщетно пытался заговорить, пока, наконец, не вымолвил:

— Нет, я теперь не хочу есть.

Снова зашаркали шаги и удалились; у него не хватило мужества повернуться. Но вдруг оцепенение спало, уступив место не то отвращению, не то судороге, охватившей все его существо. Одним прыжком он бросился к двери, дрожащими пальцами повернул ключ, чтобы эти шаги, эти, как призрак, преследующие его, ненавистные шаги не могли приблизиться к нему. Он бросился в кресло, желая подавить жуткую мысль, холодную и липкую, как ползущая улитка. Но эта мысль была навязчива, она не покидала его всю бессонную ночь и все последующие часы, даже когда он, весь в черном, безмолвно стоял во время отпевания у изголовья гроба.

* * *

На следующий день после похорон барон поспешно покинул город; ему стали невыносимы все лица. На ряду с их участием у них был—или это ему только казалось?—удивительно пыливый, мучительно-инквизиторский взгляд. И даже неодушевленные предметы глядели злобно, бросали обвинение: каждый предмет в квартире и, в особенности, в спальне, где еще оставался приторный запах газа, отталкивал его, едва он до него дотрагивался. Но самым невыносимым кошмаром—во сне и на яву—была невозмутимая холодная фигура его бывшей доверенной, бродившая тенью по опустевшему дому с таким видом, как-будто ничего не случилось. С того мгновения, как двоюродный брат назвал ее имя, он содрогался при каждой встрече с нею. Как только он слышал ее шаги, им овладевало мучительное

беспокойство: он не мог больше выносить ее шаркающие, равнодушные шаги, ее холодное, немое спокойствие. Его охватывало отвращение, когда он вспоминал о ней, о ее скрипучем голосе и жирных волосах, о ее тупой животной бесчувственности, и в его злобе было негодование на себя, на свое бессилие порвать эти узы, стягивавшие ему горло, как веревка. Он видел только один исход: бегство. Как вор, не сказав ей ни слова, он тайно сложил вещи и оставил краткую записку, что уезжает к друзьям в Кернтен.

Все лето барон не возвращался. Раз, вынужденный приехать в Вену по делам наследства, он предпочел сделать это тайно, жить в гостинице и ничего не давать знать ночной сове, поджидавшей его дома. Крещенца так и не узнала о его приезде, так как она ни с кем не разговаривала. Без работы, угр мая, сонная, она сидела весь день дома, ходила в церковь два раза вместо одного, получала через поверенного барона поручения и деньги на расходы; о нем самом она ничего не слышала. Он не писал и не вслеп ей ничего передавать. Так она, молча, сидела и ждала; ее лицо становилось все жестче и суше, ее движения—все более деревянными, и в этом оцепенении она проводила неделю за неделей.

Но осенью срочные дела не позволили барону продолжать отсутствие, он должен был вернуться домой. На пороге он остановился, не решаясь войти. Два месяца, проведенные в кругу близких друзей, заставили его позабыть о тягостном присутствии Крещенцы, и теперь, при предстоявшей встрече, он снова почувствовал, как к горлу подступила вызывавшая тошноту судорога отвращения. Пока он поднимался по лестнице, с каждой ступенькой невидимая рука все туже сжимала ему горло. В конце-концов ему пришлось напрячь все силы, всю энергию, чтобы заставить оцепеневшие пальцы повернуть ключ в замке.

Изумленная Крещенца выскочила из кухни, как только услышала, что отпирается дверь. Когда она увидела барона, она остановилась на минуту, поблдевав, и схватила, низко склоняясь, ручной чемодан, который он поставил на пол. Но она забыла вымолвить слово приветствия. Он также не издал ни звука. Безмолвно повнесла она чемодан в его комнату, безмолвно он пошел за ней. Молча, он подождал, пока она не ушла из комнаты. И тотчас быстро повернул ключ.

Это была их первая встреча после трехмесячной разлуки.

* * *

Крещенца ждала. Ждал и барон,—не оставит ли его это ужасное чувство отвращения. Но лучше не становилось. Как только шаги Крещенцы раздавались у дверей или в коридоре, неприятное чувство уже подымалось в нем, и он с утра уходил из дому, не возвращаясь до поздней ночи, чтобы избежать ее присутствия. Немногие поручения, которые ему приходилось возлагать на нее, он давал, не глядя и делая вид, что углублен в чтение письма: горло его было сдавлено,—он не мог дышать одним воздухом с ней.

Крещенца сидела молча на своей деревянной табуретке. Для себя она больше не готовила. Еда была ей противна. Людей она избегала. Она сидела и ждала—как побитая провинившаяся собака, с опущенной головой и несмелым взглядом—свистка своего господина. Ее тупая голова не понимала, что произошло; она понимала лишь одно: что он ее избегал и больше не хотел ее знать.

На третий день приезда хозяина раздался звонок. Седой, спокойный мужчина с хорошо выбритым лицом, держа чемодан в руке, стоял у дверей. Крещенца хотела его выпроводить, но пришедший настаивал, что он новый лакей, что

ему велели прийти к десяти часам, и чтобы она доложила о нем барину.

Крещенца побледнела, как полотно. Минуту она стояла точно столб с поднятой, указывающей на дверь рукой, потом вдруг опустила ее.

— Войдите сами,—грубо крикнула она, пошла в кухню и захлопнула дверь.

Лакей остался. С этого дня барону не пришлось больше обращаться к ней, все приказания шли через спокойного старого слугу, который давал указания высокомерным тоном руководителя. Все, что происходило в доме, не доходило до нее; все перекатывалось через нее, точно волна через камень.

Это тягостное состояние длилось две недели и грызло Крещенду, как болезнь. Ее лицо стало острым и угловатым, волосы у висков побелели. Ее движения окаменели. Она не оглядывалась, не прислушивалась, не покидала больше кухни, чтобы не видеть ненавистного лица лакея, лишившего ее барина. Почти все время она сидела, как колода, на деревянной табуретке, устремив пустой взгляд в пустое окно; но работу она исполняла, точно в припадке иступления.

После двух недель лакей пришел в комнату барона, и по его выжидательной позе барон понял, что он намерен сообщить ему что-то из ряда вон выходящее. Лакей уже как-то пожаловался на угрюмый характер «тирольской карги», как он презрительно называл Крещенду, и предложил отказать ей. Но неприятно задетый барон тогда будто не расслышал его предложения. Лакей покорно удалился, но на этот раз он упорно оставался при своем мнении, переминался со странным, смущенным лицом и, в конце-концов, попросив барина не смеяться над ним, вымолвил, что он... что он... никак не выразить ему это

иначе... что он ее боится. Это скрытное, злое существо совершенно невыносимо, и господин барон, мол, не подозревает, какого опасного человека он держит у себя в доме. При этом предостережении барон невольно вздрогнул; он попросил старика объяснить, что он хочет этим сказать? Лакей, конечно, смягчил свое утверждение: он ничего определенного сказать не может, но он не может отделаться от чувства, что эта женщина — дикий зверь и в состоянии броситься на него. Вчера, рассказывал он, когда он повернулся, чтобы ей кое-что сказать, он неожиданно поймал ее взгляд, — конечно, что значит взгляд! — но ему показалось, что она готова на него броситься. И с тех пор он ее боится, он боится дотронуться до еды, которую она ему готовит.

— Господин даже не подозревает, — закончил он свой доклад, — какая она опасная особа. Она ни слова не говорит, и я думаю, что она способна убить человека.

Встревоженный барон окинул обвинителя быстрым взглядом. Не слышал ли он чего-нибудь определенного? Не высказал ли кто-нибудь подозрения? Он почувствовал, что у него задрожали пальцы. Быстро отложил он сигару, опасаясь, что дрожание руки выдаст его волнение. Но на лице старика нельзя было прочесть никакого подозрения, он ничего не мог знать. Барон задумался. Он колебался, но, наконец, собравшись с духом, сказал:

— Подожди еще немного и, если она будет с тобой груба, откажи ей от моего имени.

Лакей откланялся, и барон облегченно вздохнул. Мысль об этом таинственном опасном создании омрачила ему день. Лучше всего было бы, подумал он, когда старик ушел, если бы это произошло в его отсутствие, например — на рождестве. И одна надежда на желанную свободу принесла ему внутреннее успокоение. «Да, так будет лучше всего,

на рождестве, когда меня не будет». И он решил приказать лакею повременить с исполнением этого поручения.

Но уже на следующий день, когда после обеда он вернулся со службы, постучали в дверь. Ни о чем не думая, он произнес, не стываясь от газеты:

— Войдите!

И тотчас раздались ненавистные шаркающие шаги, которые преследовали его даже во сне. Он вздрогнул: как череп, качалось перед ним бледное, застывшее лицо худой мрачной фигуры, и что-то в роде сострадания примешалось к его ужасу, когда он увидел, как шаги этого раздавленного создания робко остановились на краю ковра. Желая скрыть свое смущение, он, точно ничего не подозревая, спросил:

— Ну, в чем дело, Крещенца?

Но, помимо его воли, слова прозвучали бессердечно, отталкивающе, презрительно.

Крещенца не двигалась. Она уставилась глазами в ковер. Наконец, она вытолкнула из себя, точно что-то двинула с шумом ногой:

— Лакей мне отказал, он говорит, что барин мне отказывает.

Неприятно пораженный, барон встал. Он не ожидал, что это произойдет так скоро. И, запинаясь, он стал говорить о том, что она его не так поняла, что она должна стараться жить в мире с другими слугами и тому подобное,—первые, пришедшие ему на ум слова, а в то же время в душе он мечтал лишь о том, чтобы она скорее закрыла за собой дверь.

Но Крещенца стояла неподвижно, уставив глаза на ковер, подняв плечи. С упрямой злобой она, точно бык, опустила голову, не обращая внимания на вежливые слова, тщательно выжидая одного. И когда он, наконец, утомленный, замолчал,

несколько шокированный унижительной ролью, разыгрываемой им перед служанкой, она продолжала молча и упрямо стоять. Потом она неловко выговорила:

— Я хотела только знать, поручил ли господин барон Антону отказать мне?

Она выбросила этот вопрос с большим усилием, твердо, пегодующе. И он ощутил его в своем нервном напряжении, как толчок. Что это—угроза? Вызов? И мигом улетучились трусость и сострадание. Неделями копившаяся ненависть и отвращение соединились в одном жгучем желании положить этому конец. И вдруг, совершенно меняя тон, с любовью, приобретенной на министерской службе, он равнодушно подтвердил, что это верно, что он дал лакею свободу действий в разрешении хозяйственных вопросов. Он обещал защитить ее интересы, но, если она будет упорствовать в недружелюбных выходках по отношению к остальной прислуге, он будет вынужден отказать от ее услуг.

И, твердо решив собрать всю свою энергию и не отступать даже перед лицом какого-нибудь интимного намека или угрозы, он, произнося эти последние слова, бросил на хранившую глубокое молчание женщину откровенно раздраженный взгляд.

Но робко обращенный на него взор Крещенды выражал лишь испуг подстреленного животного, увидевшего свору собак, бросившуюся на него из-за кустов.

— Спасибо...—с трудом вымолвила она слабым голосом.— Я уже... иду... Не хочу барину быть больше в тягость!..

И медленно, не оглядываясь, она неловким, шаркающим шагом, вздрагивая всем телом, пошла к двери.

Вечером, когда барон вернулся из театра и стал разбирать почту, он заметил какой-то четырехугольный предмет; взяв его в руки, он увидел при свете вспыхнувшей лампы деревянную резную шкатулку. Она была не заперта;

там были тщательно уложены все мелочи, полученные от него Крещенцей: несколько открыток с охоты с распоряжениями, два билета в театр, серебряное кольцо, пачка банкнот и между ними моментальный снимок, сделанный двадцать лет тому назад, где глаза ее, испуганные, очевидно, вспышкой света, смотрели вперед с тем же побитым выражением, как при прощании.

Удивленный, он отодвинул шкатулку и пошел спросить лакея, что бы мог значить этот неожиданный подарок. Но лакей не видал Крещенцы. Ее не было ни в кухне, ни в комнатах. И, когда на следующий день в газете, в отделе происшествий, он прочел, что сорокалетняя женщина бросилась с моста в Дунай, он знал, где Лепорелла нашла себе убежище.

НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕРЕВОД И. С. БЕРНШТЕЙН

Мы отъехали две станции от Дрездена, когда к нам в купе вошел пожилой господин, вежливо поклонился и, заметив меня, еще раз приветливо, как знакомому, кивнул головой. В первую минуту я не узнал его; но, как только, улыбнувшись, он назвал свою фамилию, я сразу припомнил: это был один из самых видных антикваров Берлина, у которого в мирное время я часто рассматривал и покупал старинные книги и автографы. Мы заговорили на безразличные темы. Но вдруг, без всякой связи с предшествовавшим, он заявил:

— Я должен рассказать вам, откуда еду. Дело в том, что я пережил, пожалуй, самое необыкновенное приключение из всех, встречавшихся мне, старому антиквару, на протяжении моей тридцати-семи летней деятельности. Вы, вероятно, знаете, что творится теперь в нашем деле с тех пор, как ценность денег улетучивается, точно газ: новым богачам понадобились вдруг готические мадонны, ипкунанбулы, гравюры и картины; никакой кудесник не мог бы напасть на них; приходится энергично протестовать против их попыток вынести все, что есть у вас в доме; они с удовольствием сняли бы с вас запонки и завладели бы лампой с вашего письменного стола. Благодаря этому все больше и больше дает себя знать недостаток товара,—простите, что вещи, к которым в былое время мы относились с благоговением, я называю товаром, но эта неприятная порода людей приучила нас смотреть на старинное

венецианское первопечатное издание, как на способ получения известного количества долларов, а на карандашный рисунок Гвергино—как на повод к перемещению из кармана в карман нескольких тысячефранковых билетов. Никакое сопротивление не устоит перед назойливостью этих неистово-скоропелых покупателей. И вот я внезапно оказался настолько выпотрошенным, что охотнее всего прикрыл бы магазин; мне стыдно было видеть, что в нашем старинном предприятии, перешедшем еще от деда к моему отцу, осталась лишь жалкая рухлядь, которую в прежнее время ни один старьевщик не положил бы на свою тележку.

Это затруднение натолкнуло меня на мысль перелистать старые товарные книги, чтобы разыскать тех клиентов, у которых можно было надеяться выманить несколько дублетов. Старый список клиентов представляет собою нечто в роде кладбища,—особенно в теперешнее время,—и он действительно немного мне дал: наши бывшие покупатели, в большинстве, давно уже вынуждены были продать свои коллекции с аукциона или умерли, а от немногих оставшихся ничего нельзя было ожидать. Но вдруг я наткнулся на пачку писем одного из наших, быть-может, старейших клиентов, о котором я забыл лишь потому, что с начала войны, с 1914 года, он ни разу не обращался к нам ни с заказом, ни с каким-либо запросом. Обмен писем происходил, как это ни странно, почти шестьдесят лет тому назад,—он покупал у моего отца и деда, и я решительно не мог вспомнить, чтобы за тридцать лет моей деятельности я когда-либо видел его у нас.

Судя по всему, это был старомодный, забавный оригинал, один из тех забытых немцев излюбленного Менцелем и Шпитдвегом типа, какими они и в наше время сохранились в маленьких провинциальных городках, в качестве редких единичных экземпляров. Его письма были образцом

каллиграфического искусства—чистенько написанные, с введенными красными чернилами итогами, повторенными дважды, во избежание ошибки; все это, а также и то, что он отрывал оставшуюся неисписанной страницу и пользовался экономическими конвертами, указывало на мелочность и фанатическую скупость безнадёжного провинциала. Подписаны были эти странные документы полным его титулом: советник хозяйственного управления в отставке, лейтенант в отставке и кавалер Железного Креста I-й степени. Этому ветерану семидесятих годов, если он был еще жив, должно было бы быть верных лет восемьдесят. Но смешной скряга отличался, как коллекционер старинной графики, исключительным умом, знаниями и прекрасным вкусом. Когда я постепенно пересмотрел его заказы за шестьдесят лет, в которых счет велся еще на зильбергроши, я убедился, что этот маленький провинциал должен был в то время, когда за талер можно было приобрести штук шестьдесят самых лучших немецких гравюр, собрать, не торопясь, коллекцию эстампов, которая не ударила бы лицом в грязь на ряду с шумною славою приобретенных новыми богачами картин. Даже то, что он в течение полувека на небольшие суммы приобрел у нас, должно было составить теперь немалую ценность; а можно было предположить, что он и у других антикваров и на аукционах делал не менее выгодные покупки.

С 1914 года от него больше не поступало заказов, но я слишком хорошо был осведомлен обо всем, происходившем на антикварном рынке, чтобы от внимания моего могла ускользнуть публичная или закрытая продажа такой коллекции; повидному, оригинал этот еще жив—или же коллекция перешла к его наследникам.

Меня это заинтересовало, и на следующий же день, т.-е. вчера вечером, я отправился прямым путем в один из тех

невозможнейших провинциальных городков, которые встречаются только в Саксонии; когда я с маленького вокзала медленно плелся по главной улице, мне представилось почти невозможным, чтобы среди этих обычных домишек, с их мелко-мещанским убранством, в одной из комнат жил человек, владеющий безупречным собранием великолепнейших произведений Рембрандта, Дюрера, Мантеньи. К моему удивлению я узнал на почтамте, что такой-то советник хозяйственного управления еще жив. Я отправился к нему немедленно, испытывая, скажу откровенно, большое волнение.

Мне не стоило большого труда найти его квартиру; она оказалась во втором этаже одного из тех скромных провинциальных домиков, которые стряпали на скорую руку спекулянты-архитекторы шестидесятых годов. В первом этаже жил скромный портной, во втором—с левой стороны площадки красовалась на двери карточка почтмейстера, с правой—белая фарфоровая дощечка советника. Я робко позвонил, и сейчас же старенькая седая женщина в черном аккуратном чепчике открыла мне дверь. Я передал свою визитную карточку и спросил, могу ли я видеть господина советника. Удивленно и с некоторым недоверием она посмотрела сперва на меня, потом на карточку: в этом затерянном городишке, в этом старинном доме визит казался событием. Но все же она любезно попросила меня подождать, взяла карточку и вошла в комнату. Я услышал сперва тихий шопот, потом громкий, отрывистый мужской голос: «Ага, господин Р. из Берлина, из большого антиквариата... пусть войдет... пусть войдет... очень рад!» Старушка засеменила обратно и попросила меня войти в гостиную.

Я снял пальто и вошел. Посреди скромно обставленной комнаты стоял, выпрямившись, крепкий еще старик, с густыми усами, в полувоенной, украшенной шнурами,

домашней куртке, радушно протягивая мне обе руки. Но этому открытому жесту—несомненно радостному и сердечному приветствию—противоречила удивительная неподвижность. Он не приблизился ко мне ни на шаг, и я должен был—испытывая удивление—подойти к нему, чтобы пожать протянутую руку. Когда я хотел сделать это, я заметил, что и рука не протянулась мне навстречу, а недвижно ждала моего рукопожатия. В ту же минуту я понял все: старик был слеп.

Еще в детстве я чувствовал себя неловко, когда мне приходилось встречать слепого: я не мог отделаться от стыда, от какой-то неловкости в присутствии живого человека, которого я вижу, но который не видит меня. И в данном случае я должен был побороть некоторую боязнь, когда взглянул в мертвые, неподвижно устремленные в пространство глаза, обрамленные беспорядочными густыми бровями. Но смущение мое было непродолжительно: лишь только я коснулся руки слепого, он крепко пожал мою руку и порывисто повторил свое шумное, но все же сердечное приветствие.

— Вот редкий визит,—заявил, он, смеясь,—вот чудо: один из господ берлинцев забрел, наконец, в нашу дыру... Но надо держать ухо востро, когда антиквар садится в поезд... У нас говорят обычно: ворота и карман на запор, когда цыгане приходят... да, могу себе представить, почему вы меня отыскали... дела плохи в нашей бедной, опустившейся Германии, нет покупателей, и важные господа вспомнили о своих старых клиентах, разыскивают овечек... но со мной, боюсь, вам не повезет; мы, бедные старые коллекционеры, счастливы, если есть у нас кусок насущного хлеба. Где уж нам тянуться за сумасшедшими ценами, которые вы теперь устанавливаете... мы навсегда лишены возможности покупать...

Я тут же сказал, что он неверно истолковал мое появление, что я ничего не собирался предложить ему, но, находясь поблизости, не хотел упустить случая побывать у одного из крупнейших германских коллекционеров, у старинного клиента нашего дома. Как только я его назвал «крупнейшим германским коллекционером», лицо старика сразу преобразилось. Он все еще стоял выпрямившись, неподвижно, посреди комнаты, но внезапное довольство и внутренняя гордость сказались в его осанке; он повернулся в ту сторону, где ожидал найти жену, с таким видом, точно хотел сказать: «Слышишь?» И радостно, без малейшего оттенка военной резкости, которая чувствовалась в его голосе еще несколько минут тому назад, мягко, почти нежно обратился ко мне:

— Это замечательно мило... вы не даром пришли. Вы увидите такие вещи, которые не каждый день встретишь, даже в вашем шикарном Берлине... несколько вещей, лучше которых вы не найдете ни в галлерее Альберта, ни в безбожном Париже... Да, если коллекционируешь так лет шестьдесят, то нападаешь на вещи, которые, смело могу сказать, не валяются на улице. Луиза, дай-ка ключ от шкафа!

Но тут произошло нечто неожиданное. Старушка, стоявшая рядом с ним и слушавшая с приветливой и вежливой улыбкой наш разговор, умоляюще протянула ко мне руки и сделала энергичный отрицательный жест головой, которого я сначала не понял. Потом она подошла к мужу и положила руку к нему на плечо.

— Гервард, — промолвила она, — ты ведь не спросил гостя, есть ли у него время осматривать сейчас твою коллекцию, — скоро обед. А после обеда ты должен часок отдохнуть, как велел врач. Не лучше ли показать гостю коллекцию после обеда, за чашкой кофе? Тогда Анна-Мари будет дома, она знает все лучше меня и поможет тебе.

Проговорив это, она повторила за спиной ничего неподозревающего старика тот же умоляющий жест, который лишь теперь стал мне понятен. Угадав ее желание, я отклонил предложение осмотреть коллекцию немедленно, под предлогом условленной встречи к обеду. Разрешение ознакомиться с его коллекцией я считаю и честью и удовольствием, заверил я, и, если он позволит, приду к нему для этой цели в три часа.

Недовольный, как ребенок, лишившийся любимой игрушки, старик отвернулся.

— Конечно, — пробормотал он, — у господ берлинцев никогда нет времени. Но на этот раз вам придется вооружиться терпением; не три, и не пять вещей хочу я вам показать, а двадцать семь папок, все почти полные, из которых каждая достойна взора ценителя. Итак, в три часа; но будьте аккуратны, а то нам не удастся пересмотреть всего.—Опять протянул он руку в пространство.—Ну-ка, посмотрим, будете ли вы радоваться или огорчаться. Чем больше будете вы огорчаться, тем больше буду радоваться я. Таковы уж мы—коллекционеры. Все для себя, ничего для других!—Он еще раз крепко пожал мою руку.

Старушка проводила меня до дверей. Я заметил, что она все время испытывает какую-то неловкость; ее лицо выражало смущение и тревогу. Почти у самого выхода она проговорила печальным голосом:

— Не разрешите ли вы... не разрешите ли... моей дочери, Анне-Мари, зайти за вами? Так будет лучше... по разным причинам... вы, вероятно, обедаете в гостинице?

— Конечно, буду очень рад, это доставит мне удовольствие, — сказал я.

И действительно, через час, когда я, сидя в маленькой столовой гостиницы, заканчивал обед, вошла, оглядываясь по сторонам, немолодая, скромно одетая девушка. Я пошел

ей навстречу, представился и предложил сейчас же отправиться с ней, чтобы осмотреть коллекцию. Но с тем же смущением, которое я заметил у матери, она попросила разрешения сказать мне несколько слов, прежде чем мы пойдем к ним. Повидимому, ей это было не легко. Собираясь начать повествование, она покраснела до корней волос, и рука ее теребила складки платья. Наконец, путаясь и останавливаясь, она начала смущенно:

— Моя мать послала меня к вам... она мне все рассказала... и у нас большая просьба к вам... мы хотели вас поставить в известность... раньше чем вы придете к отцу... он захочет показать вам свою коллекцию, а коллекция... коллекция... она не совсем полна... там не хватает нескольких картин... даже довольно много...

Она тяжело вздохнула и, посмотрев на меня, проговорила поспешно:

— Я буду откровенна с вами... Помните, какое время мы пережили, и вы все поймете... Отец ослеп, как только началась война. Еще до этого он стал плохо видеть, а после перенесенных волнений лишился зрения окончательно; несмотря на свои семьдесят шесть лет, он хотел отправиться с армией во Францию, и когда армия продвигалась не так быстро, как в 1870 году, он очень волновался; это пагубно отразилось на его зрении... Он очень бодр и еще недавно мог часами гулять и даже ходить на охоту,—он так любит ее. Но теперь пришел конец прогулкам, и единственную радость доставляет ему коллекция; он ее рассматривает ежедневно. Т.-е. он не рассматривает ее,—прибавила она,—так как ничего не видит, но каждый день после обеда достает все папки, чтобы по крайней мере перелистать гравюры, которые он, вот уж несколько десятков лет, знает наизусть, одну за другой, все по очереди... Он ничем другим не интересуется, и ежедневно я должна

была ему прочитывать о всех аукционах; чем выше подымались цены, тем он был счастливее... в этом именно и заключается ужас, что он не имеет представления о ценах и о времени... он не знает, что мы все потеряли, и что его месячной пенсии хватает лишь на два дня жизни... К тому же, муж сестры был убит, и она осталась с четырьмя детьми без всяких средств. Но отец ничего не знает обо всем этом. Мы старались экономить больше, чем всегда, но это ни к чему не привело. Тогда мы стали продавать—мы, конечно, не трогали его любимой коллекции... продавали драгоценности, но это так мало дало. Ведь отец в течение шестидесяти лет каждый пфенниг, который он мог сберечь, тратил на свою коллекцию. И вот настало время, когда у нас ничего больше не осталось... мы не знали, что делать... и тогда... тогда мы с матерью решили продать одну из гравюр. Отец никогда бы этого не допустил, он не знает, как тяжело нам живется, не знает, как трудно даже этой тайной продажей поддерживать свое существование; не знает и того, что война нами проиграна, что Эльзас и Лотарингию нам пришлось отдать; мы ему не читаем сообщений из газет, чтобы не волновать его.

Это была очень ценная вещь, которую мы продали,—рисунок Рембрандта. Покупатель предложил нам много тысяч марок за нее, и мы были убеждены, что нам хватит на много лет... Но вы знаете, как деньги падали. Мы весь остаток положили в банк, а через два месяца все растаяло, и мы должны были продавать еще и еще; покупатель присылал деньги с такими опозданиями, что они теряли свою ценность, пока доходили до нас. Тогда мы стали продавать на аукционах, но и тут нас обманывали, хотя нам платили миллионы... Пока они попадали в наши руки, от них ничего не оставалось. Так постепенно ушли лучшие вещи

из его коллекции, вплоть до двух-трех; и этого едва хватало, чтобы вести самую жалкую жизнь... Но отец ничего не подозревает.

Вот почему мать испугалась, когда вы сегодня пришли... Если он вам покажет папки, все погибло... мы в старые паспарту, которые он знает на ощупь, положили дублеты или похожие листы, так что, ощупывая их, он ничего не замечает. Имел возможность коснуться рукой и пересчитать свои гравюры (он прекрасно помнит порядок, в котором они лежат), он получает столько же радости, сколько в то время, когда мог ими любоваться. В нашем маленьком городе нет людей, которых отец считал бы достойными лицемерия своего сокровища... Он любит каждый листок такой фанатической любовью, что одно подозрение о продаже этих вещей сломило бы его окончательно. За все эти годы, с тех пор как прежний директор Дрезденской Галлерей умер, вам первому решается он показать свои сокровища. Поэтому, прошу вас...

И вдруг стареющая девушка сложила руки, как в молитве, и в ее глазах заблестели слезы...

— Мы умоляем вас,—сказала она,—не делайте его несчастным... не делайте несчастными нас, не разбивайте его последней иллюзии, помогите нам сохранить в нем уверенность, что все картины, которые он будет вам описывать, существуют... он не пережил бы горя,—если бы заподозрил, что их нет. Может быть, мы были неправы, но мы не могли иначе поступить: надо было жить как-нибудь... и человеческая жизнь, жизнь четырех сирот детей моей сестры, имеет ведь бóльшую ценность, чем эти гравюры... До сегодняшнего дня мы ведь не лишили его радости этой продажей; он счастлив, перелистывая ежедневно в течение трех часов свои папки и разговаривая с каждым листком, как с человеком... и сегодня... сегодня

ему предстоит, быть-может, счастливейший день; ведь он годами ждет возможности показать предмет своей гордости знатоку; прошу вас, умоляю, не лишайте его этой радости.

Мой пересказ, разумеется, не может передать, как трогательно звучала ее речь. Мне неоднократно приходилось, как торговцу, встречаться с людьми, дерзко ограбленными и подло обманутыми инфляцией, которым приходилось драгоценнейшие фамильные вещи терять из-за куска хлеба,—но здесь судьба столкнула меня с чем-то исключительным, что меня особенно задело за живое. Само собою разумеется я обещал ей молчать и сделать все от меня зависящее.

Мы вместе отправились к ним; по дороге я узнал какими пустяками удовлетворили этих бедных, неопытных женщин, и это только укрепило мое решение помочь им. Мы поднялись и не успели еще открыть дверь, как услышали радостный, отрывистый голос старика: «Войдите, войдите!» Обостренным слухом слепого он, вероятно, услышал наши шаги, когда мы подымались по лестнице.

— Гервард не мог сегодня заснуть, так нетерпеливо ждал он возможности показать вам свой клад,—сказала, улыбаясь, старушка. Взгляд, которым она обменялась с дочерью, успокоил ее относительно нашего уговора. На столе нас ждали кипы папок, и как только слепой почувствовал мою руку, он схватил меня без особых церемоний за рукав и усадил в кресло.

— Так, а теперь давайте начнем,—тут есть, что посмотреть, а берлинцам все ведь некогда. Вот первая папка, это маэстро Дюрер, и, как вы сейчас убедитесь, довольно полный комплект—один экземпляр лучше другого. Но судите сами... вот—посмотрите!—Он открыл первый лист папки.—Это «Большая Лошадь».

И вот—кончиками пальцев, бережно и нежно, как хрупкую вещь, вынул он чистый, пожелтевший от времени

лист бумаги, вставленный в паспарту; он восторженно держал ничего нестоящий листок перед собой. Несколько минут смотрел он, не видя ничего, но в экстазе продолжал держать расставленными пальцами, на уровне глаз, пустой лист; на лице его волшебным образом отражалось напряжение, свойственное человеку, внимательно рассматривающему. И в неподвижных, с мертвыми зрачками, глазах появились—был ли это отблеск бумаги или отблеск внутреннего переживания?—зеркальная ясность, проникновенное отражение.

— Что скажете?—гордо промолвил он. —Видали вы когда-нибудь лучший оттиск? Как выпукло, как ясно выступает каждая деталь! Я сравнивал этот лист с дрезденским экземпляром, но тот вял и бледен рядом с этим. И вдобавок здесь его родословная! Вот!—Он повернул пустой лист и с такой точностью указал ногтем определенное место на оборотной стороне, что я невольно посмотрел, нет ли там обычных знаков.—Вот печать коллекции Наглер, а здесь печать Реми и Эсдаля; знаменитые коллекционеры никогда не предполагали, что их экземпляр попадет когда-нибудь в эту маленькую комнатку.

У меня дрожь пробежала по спине, когда ничего неподозревающий старик восторженно стал расхваливать совершенно чистый листок; жутко было смотреть, как он с точностью до миллиметра отмечал ногтем все еще существующие в его воображении марки коллекционеров. У меня дыхание захватило от ужаса, я не знал, что ответить; но когда я смущенно посмотрел на двух женщин и опять увидел умоляюще протянутые ко мне руки взволнованной и дрожащей старушки, я собрался с силами и начал разыгрывать роль.

— Восхитительно!—вымолвил я.—Великолепный оттиск!

Лицо старика озарилось гордостью.

— Но это еще пустяки,—торжествовал он,—в сравнении с «Меланхолией» или, вот тут, со «Страстью»; исключительный экземпляр, ему нет равного! Вот, взгляните!

Опять его пальцы нежно провели по воображаемому рисунку.—Какая свежесть, какой сочный, теплый тон! Вот бы изумились берлинские продавцы и музейные крысы!

Так лилась битых два часа эта шумная торжествующая речь. Не могу описать вам ужас, который я испытывал, рассматривая вместе с ним сотни две пустых листов бумаги или жалких репродукций, которые в памяти неподзревающего о трагедии старика сохранились, в качестве подлинных, с такой изумительной отчетливостью, что он безошибочно в тончайших подробностях описывал и расхваливал каждый лист. Незримая коллекция, давно разлетевшаяся по всем направлениям, восставала во всей полноте перед духовным взором слепого, так трогательно обманутого; отчетливость его видения действовала так захватывающе, что я почти поверил в существование всех этих гравюр. Лишь на минуту ужасающая опасность пробуждения нарушила сомнамбулическую уверенность его точно одаренного зрением энтузиазма. Он стал восхищаться выпуклостью оттиска Рембрандтовской «Антиопы» (пробный оттиск, который действительно должен был иметь громадную ценность), и при этом нервный, словно ясновидящий палец любовно водил по рисунку, следя за его линиями. Но он не ощутил обостренным осязанием должного углубления на подложенном листе. Тень пробежала вдруг по лицу, голос зазвучал смущенно.—Ведь это... «Антиопа»?—пробормотал он неуверенно. Я взял из его рук окантованный лист и стал восторженно во всех подробностях описывать отчетливо вставшую в моем воображении гравюру. Смущенное лицо слепого снова просветлело. И чем больше

восхвалял я ее, тем искреннее и сердечнее расцветали в этом кренком старике веселость и задушевность.

— Наконец-то встретился мне действительный знаток!—радовался он, торжествуяще обращаясь к своим.— Наконец-то скажут вам, чего стоят эти листы! А вы меня бранили всегда, что я все деньги трачу на коллекцию: в самом деле, шестьдесят лет без пива, без вина, без табаку, ни путешествий, ни театра, ни книги,—все копил и копил на коллекцию. Но вы еще увидите! Когда меня не станет, вы разбогатеете, будете богаче всех в городе, станете на равную ногу с дрезденскими богачами, с благодарностью вспомните о моей глупости. Но, пока я жив, ни один листок не выйдет из этого дома,—раньше вынесут меня, а потом уж мою коллекцию.

Он нежно прикоснулся, как к чему-то живому, к своим давно опустошенным папкам; это было ужасно и вместе с тем трогательно; за все годы войны я не видал ни на одном немецком лице столько искреннего, чистого наслаждения. И рядом с ним стояли жена и дочь, таинственно похожие на женщин с гравюры немецкого художника, явившихся к могиле спасителя и с выражением страстного испуга, с экстатической верой в радостное чудо взирающих на пустую гробницу. Эти стареющие, подавленные несчастьем горожанки, сияющие отражением детской радости слепого, являли собой, полусмеясь, полуплача, зрелище столь же потрясающее, как и те женщины на гравюре, просветленные небесным предчувствием.

Но старик не мог насытиться моей похвалой; вновь и вновь нагромождал он друг на друга папки, жадно впитывая каждое мое слово. Когда, наконец, эти обманные папки были отодвинуты, и он, против желания, должен был освободить стол для кофе, для меня настали минуты отдыха. Но можно ли сравнить мой облегченный и виноватый

вздых с шумной радостью, с ликованием этого как бы на тридцать лет помолодевшего человека! Он рассказал тысячу анекдотов про свои покупки и случайные добычи; вскакивал, отвергая всякую помощь, чтобы достать то тот, то другой лист: как вином опьяненный, был он безудержно весел. Но когда я стал прощаться, он как будто испугался; нахмурился, точно упрямый ребенок, и, недовольный,— топнул ногой, говоря, что нехорошо так поступать, что я еще и половины всей коллекции не осмотрел. Женщинам стоило не малого труда умерить его упрямое негодование и доказать, что меня больше задерживать нельзя, так как я могу опоздать на поезд.

Когда, наконец, после отчаянного сопротивления, он смирился, и я стал прощаться, голос его смягчился. Он схватил мои руки, и пальцами, с чуткостью слепого, ласково провел по ним до локтя, точно хотел лучше узнать меня и оказать мне больше внимания, чем мог это сделать на словах.

— Вы своим посещением доставили мне большую, большую радость,—начал он, глубоко потрясенный,—я ее никогда не забуду. Это истинное благодеяние для меня... Наконец-то, наконец, наконец мог я со знатоком пересмотреть дорогие мне листы!

— И вы увидите, что не напрасно пришли ко мне—старому слепому. Я вам обещаю,—жена да будет свидетельницей,—я включу в завещание пункт, согласно которому продажа моей коллекции будет поручена вашему старому и заслуженному дому. Вам достанется честь распорядиться этим неведомым миру кладом,—тут он нежно коснулся рукой ограбленных папок,—до тех пор, пока они не рассеются по миру. Пообещайте мне, что вы составите хороший каталог; пусть это будет моим памятником,—лучшего мне не нужно.

Я посмотрел на его жену и дочь; они стояли близко друг к другу, и легкий трепет передавался от одной к другой, точно они представляли одно целое, содрогавшееся от общего потрясения. Я ощутил всю торжественность момента: ничего неподозревающий человек трогательно передавал в мое распоряжение, как некую драгоценность, свою незримую, давно погибшую коллекцию. Потрясенный, я обещал ему то, чего исполнить не мог. И снова луч света озарил мертвые зрачки; я почувствовал, как стремится он ощутить мое тело; я ясно почувствовал это, когда, в знак благодарности и торжественности своего обета, он, завладев моими пальцами, нежно пожал их.

Женщины проводили меня до дверей. Они не решились заговорить, так как обостренным своим слухом слепой уловил бы каждое слово; но какой благодарностью засияли их полные горячих слез глаза! Ошеломленный, я спустился с лестницы. Мне было стыдно: как сказочный ангел вступил я в жилище бедняков, сделал слепого зрячим на час и, став участником священного обмана, лгал бесстыдно — жадный торговец, пришедший в действительности, чтобы хитростью добыть несколько драгоценностей. Но то, что я унес с собой, было более ценно: мне дано было в наше тусклое, безотрадное время живо ощутить то чистое восхищение, тот озаренный духом восторг преклонения перед искусством, которые, казалось, окончательно забыты нашими современниками. И меня охватило — не нахожу другого слова — нечто в роде благоговения, вопреки непонятному чувству стыда, продолжавшему жить во мне.

Я был уже на улице, когда раздался звон открываемого окна; кто-то позвал меня: старик не удержался; он обратил свои слепые взоры в ту сторону, куда, как предполагал он, я должен был пойти. Он так перегнулся, что

женщины заботливо стали отстранять его; он махал платком и кричал юношески весело и бодро «Счастливого пути!». Не могу забыть этой картины: озаренное радостью лицо седого старца в окне вверху, над ворчливой, загнанной, светливой уличной толпой, лицо, в светлом облаке благостного самообмана вознесенное над отвратительной нашей действительностью. И я снова вспомнил старую истину, высказанную, кажется, Гете: «Коллекционеры—счастливые люди».

ПРИНУЖДЕНИЕ

ПЕРЕВОД Ц. С. БЕРНШТЕЙН

Погруженная в крепкий сон, жена дышала ровно и отчетливо. Казалось, легкая улыбка или слово вот-вот слетят с ее полуоткрытых уст. Спокойно вздымалась под покрывалом молодая полная грудь. В окна пробивалась заря. Но скуден был свет зимнего утра. Полумрак неустойчиво витал над сонными предметами, обволакивая их очертания.

Фердинанд тихо поднялся; зачем—он сам не знал. Это теперь с ним часто случалось: бросая работу, он вдруг хватал шляпу и поспешно уходил из дому, в поля, бежал все быстрее и быстрее, пока где-нибудь в незнакомом месте не останавливался, усталый, с дрожащими коленями и бешено прыгающим в висках пульсом. Или среди оживленного разговора внезапно умолкал,—не понимая смысла слов, не отвечая на вопросы,—с трудом сбрасывал с себя оцепенение. Или вечером, раздеваясь, забывался и сидел на краю постели, с крепко зажатым в руке ботинком, пока оклик жены или шум упавшего ботинка не заставляли его очнуться.

Его охватила дрожь, когда из овечьей теплом комнаты он вышел на балкон. Невольно он прижал локти к телу. Расстилавшийся внизу широкий пейзаж был еще окутан туманом. Цюрихское озеро, представлявшееся обычно — из его стоявшего на возвышенности домика — сверкающим зеркалом, отражавшим каждое скользящее по небу облачко, было покрыто еще густой молочной пеной. Куда ни падал взор, к чему ни прикасались руки,—все было сыро, мрачно,

скользко, серо; вода капала с деревьев, и влага сочилась по сваям. Пробуждавшийся мир походил на человека, только что спасшегося из воды и отряхивающего ее брызги. Человеческие голоса доносились сквозь густой туман сдавленно и глухо, как предсмертный хрип утопающего; изредка слышались удары молота и далекий благовест, но чистый обычно звук был неясен и ржав. Мрак и сырость повисли между ним и миром.

Его знобило. Но он продолжал стоять, глубже засунув руки в карманы, ожидая, пока прояснится горизонт. Словно занавес из серой бумаги медленно, снизу, стал сворачиваться туман. Его охватило невыразимое желание снова увидеть любимый ландшафт, недвижно расстилавшийся вверху и подернутый сейчас утренней дымкой. Чистые очертания пейзажа сиянием своим всегда умиротворяли его душу. Как часто радостная даль горизонта успокаивала его тревогу; домики на том берегу, приветливо лепившиеся один к другому, пароход, грациозно прорезающий голубые волны, чайки, весело перелетающие с берега на берег, дым, серебристыми спиралями поднимающийся из красной трубы навстречу полуденному звону, — все так уверенно повторяло ему: «мир! мир!», что, как ни реально было безумие вселенной, он верил прекрасным этим знамениям и минутами забывал о своей настоящей родине, любясь этой — вновь обретенной.

Месяцы протекли с тех пор, как бежал он от современности и людей, из воюющей страны, сюда, в Швейцарию; он чувствовал, как его истерзанная, израненная, подавленная болью и ужасом душа находит здесь успокоение и исцеление; чувствовал, как манит к себе ласковый ландшафт, как его чистые линии и краски зовут его, художника, к работе. Поэтому, когда пейзаж скрывался от взора, когда, как в этот утренний час, его застигнул туман, он

снова ощущал себя чужим и одиноким. Его охватила бесконечная жалость ко всем заключенным внизу — во мгле, к людям его родины, также потонувшей в туманной дали, — бесконечная жалость, бесконечная тоска по слиянию с ними и с их судьбой.

Откуда-то из тумана донеслись в это мартовское утро четыре удара церковного колокола и потом — словно сами себе возвещали они время — еще восемь, более звонких. И сам он ощутил себя словно вознесенным на колокольню, невыразимо одиноким, — мир расстилается перед ним, а за ним, погруженная в сумерки сна, покоится его жена.

Всей душой захотелось ему разорвать эту мягкую завесу тумана, ощутить хоть какие-нибудь признаки пробуждения жизни. Когда он пристально всмотрелся вниз, ему показалось, что в сером тумане, там, где кончается деревня, и дорога короткими извилинами подымается в гору, что-то медленно движется, — не то человек, не то зверь. Это еле видное, маленькое существо приближалось, вселяя в него радость сознания, что еще кто-то бодрствует, и возбуждая любопытство, жгучее и болезненное. На перекрестке, там, где дороги расходились, одна — в соседнее селение, другая — сюда, наверх, появилась серая фигура. На мгновение она, как бы отдыхая, замедлила шаг. Потом неторопливо стала взбираться по тропинке на холм.

Беспокойство овладело Фердинандом. «Кто этот чужой? — подумал он. — Какая сила выгнала его в это утро, как и меня, из тепла и сумрака комнаты? Не ко мне ли он, и что ему нужно от меня?» Теперь, вблизи, сквозь рассеявшийся туман, он узнал его: это был почтальон. Каждое утро, когда церковные часы били восемь, он взбирался сюда, наверх; Фердинанду знакомо было его неподвижное лицо с рыжей, слегка поседевшей, морского типа бородой, в синих очках. Его фамилия была Нуссбаум, Фердинанд же

прозвал его «Шелкунчиком» за деревянность движений и важный вид, с которым он перебрасывал свой большой черный кожаный мешок на правую сторону, передавая с величественным видом письма. Фердинанд не мог удержаться от улыбки, глядя, как почтальон, тяжело ступая шаг за шагом, с мешком, переброшенным через левое плечо, старается придать своей мелкой походке значительный вид.

Но вдруг он почувствовал дрожь в коленях. Его рука, поднятая к глазам, опустилась словно чужая. Тревога сегодняшняя, вчерашняя, тревога всех последних недель с новой силой охватила его вдруг. Ему показалось, что человек этот шаг за шагом приближается к нему, направляется к нему одному. Не отдавая себе отчета, он пажал ручку двери, прокрался мимо спящей жены и, торопливо спустившись с лестницы, пробежал по дорожке мимо забора навстречу почтальону.

У садовой калитки он с ним столкнулся.

— Есть у вас... есть у вас... Есть у вас что-нибудь для меня?

Почтальон поднял кверху отсыревшие очки.

— Да—да.

Он одним взмахом перебрал черный мешок на правую сторону и перебрал кипу писем своими влажными, красными от утреннего заморозка, похожими на дождевых червей пальцами.

Фердинанд дрожал. Наконец, почтальон вытащил письмо. Это был большой коричневый конверт; наверху крупным шрифтом пометка: «Служебное», а внизу его фамилия.

— Распишитесь,—сказал почтальон, послунил чернильный карандаш и подал ему книгу.

Волнуясь, Фердинанд одним росчерком, неразборчиво, подписал свою фамилию.

Он схватил письмо, протянутое ему красною толстою рукой. Но пальцы онемели и конверт упал на мокрую землю, в сырую листву. И когда он нагнулся, чтобы поднять его, то вдохнул горький запах гнили и тления.

* *
*

Теперь он ясно увидел, что именно это, гнездясь в глубине его сознания, неделями смущало его покой,—именно это письмо, которого против воли он ждал, которое пришло к нему из бессмысленной бесформенной дали, нащупало его своими сухими, машинными буквами, вторглось в его теплом наполненную жизнь и посягало теперь на его свободу. Он предчувствовал его, как всадник в разведке чует в гуще зеленых деревьев направленное на него незримое холодное дуло и в нем маленький кусочек свинца стремящийся проникнуть в живое тело.

Значит, напрасно было его сопротивление, напрасны невинные увертки, которыми он утруждал свой мозг ночи напролет: теперь они его настигли.

Еще не прошло и восьми месяцев с тех пор, как он, голый, дрожа от холода и отвращения, стоял перед военным врачом, щупавшим его мускулы, точно лошадиный барышник; в этом унижении он познал всю низость современности, то рабство, в которое погрузилась Европа. Два месяца потом он еще в силах был выносить жизнь в удушливой атмосфере патриотических фраз, но в дальнейшем это стало невыносимо, и, когда люди, собираясь говорить, открывали рот, ему казалось, что он видит на их языках налет лжи. Ему противно было слушать их речи. Вид дрожащих от холода женщин, усевшихся ранним утром с пустыми мешками на ступеньках рынка, разрывал ему сердце; со сжатыми кулаками бродил он и чувствовал, каким злым и нетерпимым он становится, отвратительным

себе самому в бессильном своем гневе. Наконец, ему удалось, благодаря протекции, попасть с женой в Швейцарию; когда он переступил границу, кровь бросилась ему в голову. Он должен был прислопиться к столбу,—ноги подкашивались. Он снова ощутил человека, жизнь, работу, волю, силу. Его грудь ширилась, вдыхая свободу. Родина теперь значила для него лишь — тюрьма и насилие. Чужбина, Европа, стала для него мировым отечеством.

Но недолго владело им радостное чувство облегчения: страх снова вселился в него. Он чувствовал, что самым своим именем он втянут еще в эту кровавую гущу; что что-то, ему неизвестное и непонятное, знает о нем и не отпускает его. Он чувствовал, что бдительное холодное око направлено на него откуда-то из неизвестного пространства. Он замкнулся в себе, углубился в свой внутренний мир, не читал газет, чтобы не прочесть там приказов о явке; менял квартиры, чтобы стереть свои следы; заставлял письма посылать на имя жены и до востребования; избегал людей, чтобы избежать расспросов. Города он не посещал, посылая жену за полотном и красками. В полной неизвестности потонуло его существование в этой деревушке у Цюрихского озера, где он снял у крестьян маленький домик. Но он знал все же: в одном из ящиков лежит среди сотен тысяч листков—один листок. И он знал: в один прекрасный день, где-нибудь, когда-нибудь, откроют этот ящик,— он слышал, как его отпирают, слышал стук пишущей машины, выстукивающей его имя, и знал, что письмо пойдет путешествовать, путешествовать, пока, наконец, не достигнет его.

И вот оно шелестит, холодное и осязаемое, между его пальцами. Фердинанд пытался сохранить спокойствие.

«Что мне этот листок бумаги?— сказал он себе. — Завтра, послезавтра распустятся здесь на кустах тысячи, десятки, сотни тысяч листков, и каждый из них будет мне

столь же безразличен, как этот. Что значит «служебное»? Что я обязан прочесть его? Я не служу, и у меня нет начальства. Что обозначает тут мое имя,—разве это, действительно, я? Кто может заставить меня сказать, что это я, кто может приказать мне прочесть, что здесь написано? Если я порву это письмо непрочитанным, клочки его разлетятся по ветру до озера, и я ничего не буду знать о нем, и мир ничего не узнает обо мне; ни одна капля не упадет из-за этого на землю быстрее, дыхание на моих устах не изменится ни на йоту! Что могло меня обеспокоить? Листок, о котором я знаю лишь постольку, поскольку хочу знать. Но я не хочу знать о нем. Я не хочу вообще ничего, кроме свободы!»

Пальцы порывались уничтожить этот твердый конверт, разорвать в клочья. Но странно: мускулы не слушались его. Руки оказывали сопротивление его воле; они не хотели повиноваться. И в то время, как душа повелевала разорвать конверт на куски, дрожащие пальцы медленно вскрывали его. И там было то, что он знал уже:

«№ 34.729 Ф. По приказу командира округа в М. вы приглашаетесь явиться не позже 22-го марта в штаб округа для переосвидетельствования и установления вашей пригодности к военной службе. Военские бумаги будут вам вручены консульством в Цюрихе, куда вы имеете явиться для получения их».

*
*
*

Когда через час он снова вошел в комнату, его встретила с приветливой улыбкой жена, с пучком весенних цветов в руках. Ее лицо сияло беззаботностью.

— Посмотри,—сказала она,—что я нашла. Там на лугу, за домом, они уже цветут; а в тени между деревьями еще снег.

Не желая ее обидеть, он взял цветы и спрятал в них лицо, чтобы не видеть беззаботного взгляда любимой женщины. Быстро убежал он в свою мансарду, служившую ему студией.

Но работа не подвигалась. Едва поставил он перед собой чистое полотно, как прочел на нем запечатленные машиной слова письма. Краски на палитре показались ему грязью и кровью. Он стал думать о гное и ранах. На собственном портрете, стоявшем в тени, он предстал самому себе в военном воротнике, подпиравшем подбородок. «Безумие, безумие» проговорил он громко и топнул ногой, чтобы прогнать дикие видения. Но руки дрожали, и под ногами колыхался пол. Он должен был лечь. Потом долго сидел на скамеечке, погруженный в свои мысли, пока жена не позвала его обедать.

Он давился каждым куском. Какая-то горечь подступала к горлу; он старался проглотить ее, но она опять подымалась. Он сидел с опущенной головой, безмолвно, но заметил, что жена следит за ним. Вдруг он почувствовал тихое прикосновение ее руки.

— Что с тобой, Фердинанд?

Он не ответил.

— Неприятные известия?

Он кивнул головой.

— Военная служба?

Он опять кивнул головой. Она молчала. Молчал и он. Тяжестью и гнетом нависла одна и та же мысль и отодвинула в сторону все предметы в комнате. Разрослась и прилипла к начатым блюдам. Она ползла мокрою улиткой по их затылкам, вызывая содрогание. Они не решались смотреть друг на друга и сидели сторбившись, обремененные невыносимой тяжестью нависшей над ними мысли.

Ее голос звучал надтреснуто, когда она, наконец спросила:

— Они направляют тебя в консульство?

— Да.

— И ты пойдешь?

Он вздрогнул.

— Я не знаю. Все-таки пужно пойти.

— Почему нужно? Почему? В Швейцарии у них нет власти над тобою. Ты здесь свободен.

Злобно проговорил он сквозь зубы:

— Свободен! Кто в наше время свободен?

— Тот, кто хочет быть свободным. И ты — больше других. Что это такое?

Она презрительно отбросила бумагу, которую он положил перед собою.

— Какую власть над тобой, мыслящим, свободным, имеет этот клочок, написанный каким-то несчастным писарем? Что он может с тобой сделать?

— Может не бумага, а тот, кто послал ее.

— Кто послал? Что это за человек? Машина, большая машина для убийств. Но тебя она не схватит.

— Она схватила уже миллионы, почему же ей не схватить меня?

— Потому, что ты этого не хочешь.

— Те, другие, тоже не хотели.

— Но они не были свободны. Они стояли под перекрестным огнем и, потому, пошли. Но никто не шел добровольно. Никто из Швейцарии не вернулся бы в этот ад.

Она подавила свое волнение, видя, как он страдает. Жалость к нему, как к ребенку, охватила ее.

— Фердинанд, — сказала она, прижимаясь к нему, — попытайся обдумать все совершенно спокойно. Ты напуган, и я понимаю, что можно растеряться, когда набрасывается

этот коварный зверь. Подумай-ка, ведь мы ждали письма. Сотни раз мы допускали возможность его получения, и я гордилась тобою, потому что знала, что ты разорвешь его в клочья и не согласишься пойти убивать людей. Разве ты не помнишь?

— Я помню, Паула, помню, но...

— Не отвечай теперь, — настаивала она, — ты сейчас под их влиянием. Вспомни наши беседы, черновик, который ты готовил, — он лежит в левом ящике, — в нем ты сообщаешь, что никогда не возьмешь в руки оружия. Ты принял определенное решение...

Он возмутился.

— Никогда оно не было определенным! Никогда я не был уверен в себе. Все это была ложь, боязливое замалчивание. Я заглушал в себе страх — словами. Все это было, пока я был свободен; но и тогда я знал: если они меня призовут, я уступлю. Ты думаешь, я дрожал перед ними? Они ничто, — пока они не вошли в мою плоть и кровь, они воздух, звук, пустота. Нет, я дрожал перед собой, я знал, что, как только они меня призовут, я пойду.

— Фердинанд, ты хочешь пойти?

— Нет, нет, нет, — топнул он ногой, — я не хочу, не хочу, все во мне восстает против этого! Но я пойду против собственного желания. В этом и заключается весь ужас их могущества, что служишь им против воли, против своего убеждения. Если бы только можно было сохранить волю! Но когда у тебя в руках такая бумага, — воля парализуется. Подчиняешься. Становишься школьником: учитель вызывает, встаешь и трепещешь.

— Но Фердинанд, кто же зовет? Отечество? Писарь! Канцелярский служащий, которому скучно! Даже государство не имеет права принуждать совершать убийства, не имеет права!

— Я знаю, все знаю. Прочитуй еще Толстого. Я ведь знаю все аргументы. Разве ты не понимаешь,—я не верю, чтобы они имели право меня призвать, я не обязан идти. У меня только одна обязанность—быть человеком, работать. У меня нет отечества вне человечности, нет у меня стремления убивать людей, я все знаю; Паула, я вижу все так же ясно, как ты; но я уже в их власти; они меня призвали, и я знаю: несмотря ни на что, я пойду.

— Почему, почему, спрашиваю я, почему?

Он простонал:

— Не знаю. Может быть потому, что безумие взяло в мире верх над разумом. Может быть потому, что я не герой и боюсь бежать... Этого нельзя объяснить. Существует какое-то принуждение. Я не могу порвать цепь, которая душит двадцать миллионов людей. Не могу.

Он закрыл лицо руками. Малтник над ним ходил размеренным шагом, как часовой перед гауптвахтой времени.

Она вздрогнула.

— Тебя призывают. Я понимаю, и все же не могу понять. Разве ты не слышишь и здесь призыва? Тебя здесь ничто не держит?

Он встрепенулся.

— Мои картины? Моя работа? Нет, я не в состоянии писать. Я это понял сегодня. Я мысленно уже там, с ними. Работать теперь для себя, когда весь мир гибнет, — это преступление. Нельзя теперь думать о себе, жить для себя.

Она встала и отвернулась.

— Я никогда не предполагала, что ты живешь только для себя. Я думала... что я для тебя тоже представляю некоторую ценность.

Она не могла говорить, слезы послышались в ее голосе. Фердинанд хотел ее успокоить. Но сквозь слезы в глазах ее блеснул гнев. Он отступил.

— Иди,—сказала она,—иди! Что я для тебя? Меньше, чем этот клочок бумаги. Иди, если хочешь!

— Не я хочу,—стукнул он кулаком в бессильной злобе,— не я хочу, они хотят! Они сильны, а я слаб. Они точили свою волю тысячелетиями, они организованы, они до тонкостей подготовились, а на нас все это свалилось, как гром с ясного неба. На их стороне воля, на моей нервы. Борьба неравная. Против машины не пойдешь. Будь это люди, можно было бы сопротивляться. Но это машина, машина для убоя, бездушный инструмент, без сердца, без рассудка. Против них ничего нельзя сделать.

— Можно, если нужно!

Она кричала в иступлении:

— Я могу, если ты не можешь! Если ты слаб, я не слаба, я не отступлюсь перед этим вздором, я не отдам живого существа за бумагу! Ты не пойдешь, пока у меня власть над тобою! Ты болен, я могу поклясться в этом. Ты соткан из нервов. Ты содрогаешься от стука тарелок. Это увидит каждый врач. Пусть тебя здесь освидетельствуют; я пойду с тобой, я все скажу. Тебя наверное освободят. Нужно сопротивляться, нужно напрячь волю, стиснуть зубы. Вспомни Жанно, твоего парижского друга: три месяца он был под наблюдением в сумасшедшем доме; они его измучили своим испытанием, но он держался, пока его не освободили. Нужно только показать, что не хочешь пойти. Нельзя уступать! Не о пустяках идет речь: не забудь, тут посягают на твою жизнь, свободу, на все. Тут нужно сопротивляться!

— Сопротивляться. Как можно сопротивляться? Они сильнее. Они сильнее всех, они сильнейшие в мире.

— Неправда! Они сильны, пока мир этого хочет. Человек сильнее отвлеченного понятия, но он должен только оставаться верным себе, своей собственной воле.

У него должно быть сознание человеческого достоинства, которое он хочет сохранить, и тогда слова, которыми одурманивают теперь людей,—«отечество, долг, героизм»,—только пустые фразы, от которых пахнет кровью, теплой, живой, человеческой кровью. Будь искренен, разве отечество тебе так же дорого, как твоя жизнь? Провинция, меняющая своего сиятельного монарха, так же мила, как твоя правая рука, которой ты рисуешь? Веришь ты в иную справедливость, чем та, невидимая, которую мы сами себе создаем кровью и духом? Нет, я знаю—нет. Ты солжешь самому себе, если захочешь пойти...

— Но я ведь не хочу...

— Не в том дело. Ты вообще не умеешь хотеть. Тебя заставляют хотеть, и в этом твоя вина. Ты приносишь себя в жертву тому, что сам презираешь. Не лучше ли пожертвовать собой чему-нибудь более достойному? Жертвовать своею кровью за собственную идею—это я понимаю, но за чужую... Фердинанд, не забывай, что, если у тебя хватит воли остаться свободным, они покажутся тебе лишь злобными дураками. Но если ты этого не захочешь, и они тебя схватят, ты сам окажешься в дураках. Ты мне всегда говорил...

— Да, я говорил, все говорил, болтал и болтал, чтобы подбодрить себя... Так дети в темном лесу поют от страха, желая заглушить его. Все это была ложь. Я это вижу теперь с ужасающей ясностью. Я знал, я все время знал, что, если они меня призовут, я пойду...

— Ты пойдешь? Фердинанд, Фердинанд!

— Нет, не я пойду! Не я! Что-то во мне заставляет, уже заставило пойти. Что-то встает во мне; как школьник перед учителем, я трепещу и повинуюсь. И вместе с тем я слушаю все, что ты говоришь, и знаю, что все это верно и справедливо, гуманно и необходимо, — это един-

ственное, что я должен сделать,—я это знаю; знаю и то, что идти туда — низость. И все же я иду, что-то меня толкает. Можешь презирать меня! Я сам презираю себя! Но я не могу иначе, не могу.

Он стучал обоими кулаками по столу. В его взоре было что-то тупое, животное. Она боялась взглянуть на него, боялась, чтобы любовь к нему не перешла в презрение. На накрытом еще столе оставалось еще мясо, холодное, похожее на падаль, и хлеб, черный, смятый, словно отбросы. Чадный запах еды наполнял комнату. Ее охватило отвращение. Отвращение ко всему. Она открыла окно. Ворвалась струя свежего воздуха. Над ее слегка дрожащими плечами высилось голубое мартовское небо, и белые облака плыли поверх ее волос.

— Посмотри,—начала она спокойнее,—посмотри на эту даль. Только раз, умоляю тебя! Может быть, все, что я говорю, не совсем верно. Слова не всегда попадают в цель. Но то, что я вижу, это правда! Это не ложь! Там внизу идет крестьянин за плугом, он молод, он силен. Почему он не дает себя убивать? Потому что его страна не воюет. Потому что его поле расположено на шесть полос дальше, и закон той страны на него не распространяется. Ты теперь находишься в этой же полосе, и закон тебя тоже не касается. Может ли быть справедливым тот невидимый закон, который распространяется до известной черты, а по ту сторону черты не имеет силы? Неужели ты не чувствуешь его бессмысленности, взирая на этот мир? Фердинанд, взгляни, как ясно небо над озером; эти краски, смотри, как они ждут, чтоб порадовать взор; подойди сюда к окну и повтори мне еще раз, что ты хочешь идти...

— Я не хочу, не хочу; ты это знаешь. Зачем мне любоваться всем этим? Я ведь знаю все, все, все! Ты му-

чаешь меня. Каждое твое слово причиняет мне страдание. И ничто, ничто, ничто не может мне помочь!

Она чувствовала, что его боль ослабляет ее волю. Сострадание сломило ее силу. Тихо повернулась она к нему.

— А когда... Фердинанд... когда... должен ты явиться в консульство?

— Завтра. Собственно говоря, я еще вчера должен был явиться, но письмо не дошло во-время. Только сегодня они меня разыскали. Завтра надо пойти.

— А если ты завтра не пойдешь? Пусть они подождут. Здесь они тебе ничего не могут сделать. Нам нечего торопиться. Пусть подождут неделю. Я сообщу, что ты болен, что ты лежишь в постели. Мой брат тоже так поступил и выиграл на этом две недели. В крайнем случае, они не поверят и пришлют врача. С ним, может быть, можно будет столкнуться. Люди без мундира как-будто человечнее. Если он взглянет на твои картины, он, может быть, поймет, что такому человеку не место на фронте. А если это не поможет, все же неделя будет выиграна.

Он молчал, и в этом молчании она чувствовала сопротивление.

— Фердинанд, обещай мне, что ты не пойдешь завтра. Пусть подождут. Нужно подготовиться. Ты теперь расстроен, и они могут сделать с тобой все, что захотят. Завтра они будут сильнее тебя. Через неделю ты, быть-может, будешь сильнее их. Подумай о чудесных днях, которые мы с тобой проведем. Фердинанд, Фердинанд, слышишь меня?

Она потянула его за рукав. Пустые зрачки глядели на нее, смысл ее речи не отразился в этом остановившемся растерянном взоре. Лишь поднявшиеся из неведомых глубин горе и страх отражались в нем. Постепенно он стал приходить в себя.

— Ты права,—сказал он наконец,—ты права. Не к слуху, что они могут мне сделать? Ты права. Завтра я во всяком случае не пойду. И послезавтра тоже. Ты права. Я мог не получить письма. Я мог быть на прогулке. Я могу быть больным. Да нет,—я ведь расписался! Но это ничего не значит. Ты права. Нужно собраться с мыслями. Ты права.

Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Ты права, ты права,—повторял он машинально, но в этих словах не было уверенности.—Ты права, ты права,—рассеянно и тупо повторял он все те же слова. Она знала, что мысли его далеко отсюда,—там, за чертой, в роковом пространстве. Она не могла больше слышать этих слов «ты права», которые он повторял одними губами. Она тихо вышла. И долго еще слышала его равномерные шаги взад и вперед, точно шаги узника в тюремной камере.

Вечером он опять не дотронулся до еды. Что-то застывшее, рассеянное было в нем. Лишь ночью, рядом с ним, она почувствовала всю силу его страха; он прижимался к ее мягкому теплему телу, точно искал в нем поддержки, обнимал ее горячо и трепетно. Но она поняла: это—не любовь, это—мольба о спасении. Судорожные слезы ощутила она в его поцелуях, горькие и соленые. Он лежал безмолвно. Иногда стонал. Тогда она протягивала ему руку, и он хватался за нее, точно она могла удержать его здесь. Они не обмолвились ни словом; только заметив его слезы, она попыталась утешить его.—У тебя еще целая неделя впереди. Не думай об этом.—Но ей стыдно стало советовать ему думать о другом; его холодные руки, неровное биение сердца, все твердило о том, что одна мысль внедрилась в него и владеет им. И не было чуда, которое бы избавило его от этого.

Никогда молчание и мрак не были так тягостны в этом доме. Холод = ужас всего мира застыли в стенах. Только

часы невозмутимо шли вперед, как часовой из стали, шаг за шагом, и она чувствовала, что с каждой секундой этот лежащий рядом с нею человек, живой и любимый, уходит от нее в незримую даль. Она не могла больше вынести этого, вскочила и остановила маятник. Время отступилось, остались только ужас и безмолвие. И оба бодрствовали молча до зари, один возле другого, и одна единственная мысль волновала их душу.

* *
*

Было еще по-зимнему сумрачно; изморозь тяжелыми пластами ложилась на озеро, когда он встал, быстро накинул платье и нерешительно, неуверенно стал переходить из комнаты в комнату. Потом вдруг схватил пальто и шляпу и тихо открыл выходную дверь. Впоследствии он часто вспоминал, как дрожала его рука, когда коснулась холодной задвижки, и как он смущенно оглядывался,— заметил ли его кто-нибудь. И, действительно, как на вора, бросилась на него собака, но, узнав, радостно приласкалась и, виляя хвостом, стала проситься на прогулку. Но он отогнал ее рукой,—говорить он не решался. И не отдавая себе отчета в своей поспешности, быстро спустился по тропинке. На минуту он остановился и оглянулся назад, на дом, постепенно исчезающий в тумане. Но его неудержимо тянуло вперед, он бежал, спотыкаясь о камни, как-будто кто-то гнался за ним. Он остановился только на вокзале, задыхаясь от жары в своем влажном платье, с каплями пота на лбу.

Там стояло несколько крестьян и людей попроще; узнав его, они поклонились и, видимо, не прочь были побеседовать с ним, но он уклонился. Страх охватил его при мысли вступить в разговор с кем-нибудь. А вместе с тем тоска ожидания на мокром перроне причиняла ему

боль. Не зная, что делать с собой, он стал на весы, опустил монету, увидел в зеркальце над стрелками бледное потное лицо, и, лишь когда сошел с весов, и в автомате звякнула монета, он вспомнил, что забыл посмотреть на стрелку, указывающую вес. «Я с ума сошел, совсем сошел с ума», пробормотал он тихо. Ужас охватил его перед самим собой. Он сел на скамейку, пытаясь заставить себя обдумать все. Но раздался сигнал, и он вскочил с места. Вдали послышался свисток паровоза. Примчался поезд, он бросился в купе. Грязная газета валялась на полу. Он поднял ее, уставился на лист, не понимая текста и наблюдая лишь, как все сильнее и сильнее дрожат его руки.

Поезд остановился. Цюрих. Он вышел, шатаясь, из вагона. Он знал, куда его тянет, и чувствовал, как все ослабевает и ослабевает его сопротивление. Он попробовал испытать свою выдержку: остановился перед афишей, прочел ее сверху до низу, чтобы доказать, что имеет еще власть над собою. «Мне ведь торопиться некуда», сказал он шопотом, но слово еще не успело слететь с его бормочущих уст, а уж он мчался дальше. Как какой-то двигатель, дрожало в нем жгучее возбуждение толчками гнавшее его вперед. Беспомощно он оглянулся вокруг в поисках автомобиля. Ноги дрожали. Вот приблизился один. Он подозвал его и, как самоубийца в реку, бросился на мягкие подушки. Он назвал улицу, где помещалось консульство.

Автомобиль загудел. Он откинулся назад, закрыв глаза. Ему казалось, что он несется в пропасть, и вместе с тем он наслаждался скоростью, с которой машина несла его навстречу судьбе. Ему приятны были бездействие и покорность. Автомобиль остановился. Он выскочил, заплатил, вошел в лифт, вновь ощущая блаженное чувство механического движения и подъема. Словно не он сам все это

продельвал, а та, принуждавшая его, неведомая, незримая, могучая сила.

Дверь консульства была закрыта. Он позвонил. Ответа не было. Его охватило страстное желание вернуться назад, выскочить, спуститься с лестницы. Но он позвонил вторично. Послышались чьи-то шаги. Служитель долго возился с дверью и вышел, наконец, без сюртука, с пыльной тряпкой в руке. Очевидно, он прибирал канцелярию.

— Что нужно?..—спросил он грубо.

— В консульстве... мне... мне назначено,—заикаясь, проговорил он.

Стыд снова охватил его.

Тот отвернулся нагло и рассерженно:

— Разве не могли вы прочесть внизу на доске: «Прием от десяти до двенадцати?» Теперь никого нет.—И, не ожидая ответа, захлопнул дверь.

Фердинанд стоял, уничтоженный. Безграничный стыд наполнил его душу. Он посмотрел на часы. Было десять минут восьмого.

— С ума сошел! С ума сошел!—бормотал он. И, с дрожью в ногах, как старик, спустился с лестницы.

* * *

Два с половиной часа,—невыносимым показался ему этот мертвый срок; он чувствовал, как с каждой минутой покидает его самообладание. Сейчас он напряжен и готов, все обдумал, каждое слово поставил на свое место, мысленно подготовил всю сцену, и вдруг опустилась между ним и его готовностью двухчасовая железная завеса. С ужасом заметил он, как угасает в нем решимость, как блекнут в памяти слова, нагромождаясь друг на друга, сталкиваясь и торопливо исчезая.

Он представлял себе все дело так: он придет в консульство, велит доложить о себе чиновнику по военным делам, который был ему несколько знаком. Он однажды встретился с ним где-то и вел безразличную беседу. Однако, он раскусил его,—это был аристократ, эlegantный, светский, гордый своей обходительностью, любящий великодушничать и старающийся не казаться чиновником. Этим честолюбием все ведь они отличаются: хотят прослыть дипломатами, независимыми людьми. На этой струнке он думал сыграть, он предполагал велеть доложить о себе, поговорить раньше всего, в любезных светских тонах, на общие темы, спросить о здоровье супруги. Чиновник, вероятно, попросит его сесть и предложит папиросу, и, наконец, когда он замолчит, чиновник обратится к нему с вопросом: «Чем могу быть вам полезен?» Чиновник обязательно должен обратиться к нему с вопросом, это страшно важно. А он ответит холодно и равнодушно: «Я получил какую-то бумагу, меня приглашают приехать в М. для врачебного освидетельствования. Я полагаю, здесь кроется какое-то недоразумение, я в свое время был освидетельствован и признан негодным к военной службе». Совершенно равнодушно он должен это сказать, чтобы сразу было видно, что на всю эту историю смотрят, как на пустяк. Чиновник, спокойную манеру которого он знал, возьмет в руки бумагу и объяснит, что речь идет тут о вторичном освидетельствовании, что он давно должен был прочесть об этом в газетах, что освобожденные в свое время должны теперь снова явиться. На это он опять равнодушно, пожимая плечами, скажет: «Ах так, я газет не читаю, мне некогда. У меня работа». Из этого тот, другой, должен увидеть, как безразлична ему вся эта война, каким независимым и свободным он себя чувствует. Конечно, чиновник тут же объяснит ему, что он должен подчиниться призыву, что он очень сожалеет,

но военное ведомство... и так далее... Тут-то и наступит момент, когда ему придется высказать всю свою энергию. «Я понимаю,—скажет он,—но я не имею возможности прервать свою работу. Я дал согласие на организацию выставки моих картин и не могу подвести человека. Я дал ему слово». И он предполагал предложить чиновнику или продлить ему срок, или дать возможность подвергнуться переосвидетельствованию здесь.

До сих пор все было совершенно ясно. И только теперь стали являться всякие сомнения. Чиновник мог попросту согласиться, и тогда было бы во всяком случае выиграно время. Но если бы он вежливо—с той холодной, уклончивой и ставшей вдруг чиновничьей вежливостью—стал ему объяснять, что это вне его компетенции и недопустимо, тогда надо со всей решимостью встать, подойти к столу и твердым голосом, с непоколебимой стойкостью, сказать: «Я принимаю это к сведению, но прошу отметить официально, что в силу денежных обязательств я не в состоянии явиться на призыв и откладываю свою явку, за собственный страх и риск, на три недели, пока не выполню своего нравственного долга. Я, конечно, и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине». Он особенно гордился этими с трудом придуманными фразами: «Отметить официально», «денежные обязательства»,—это звучит так деловито и ведомственно. Если бы чиновник обратил его внимание на юридические последствия, можно было бы закончить еще более решительно, заметив: «Мне известен и закон и все его последствия. Но данное мною слово для меня высший закон, и чтобы сдержать его, я должен пойти навстречу всяческим трудностям». Быстро откланяться, положив этим конец разговору, и направиться к двери! «Я должен показать, что я не мастеровой и не мальчишка, ждущий, пока ему скажут

что он может идти, и что я сам знаю, когда разговор окончен».

Трижды повторил он себе, прогуливаясь взад и вперед, эту сцену. Все построение, весь тон ему чрезвычайно нравились, он с нетерпением ждал срока, как актер своей реплики. Только одно место не очень ему нравилось: «Я и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине». Необходимо было, конечно, вставить в разговор какую-нибудь патриотическую фразу, необходимо, чтобы там видели, что он не уклоняется, но и не особенно стремится; что он признает — конечно, только перед ними, а не перед собой—эту необходимость. «Долг перед родиной», это выражение слишком книжное, слишком затасканное. Он подумал. Лучше, может быть: «Я знаю, что родина во мне нуждается». Нет, это еще смешнее. Лучше так: «Я не собираюсь пренебречь зовом родины». Это уж лучше. Но все же и это не вполне ему понравилось. Слишком услужливо, поклон на несколько сантиметров ниже, чем следует. Он снова задумался. Лучше совсем просто: «Я знаю свой долг»,—да, это правильно, это можно повернуть в любую сторону, понять как угодно. И звучит коротко и ясно. Можно произнести чрезвычайно решительно: «Я знал свой долг»,—почти как угрозу. Теперь все в порядке. Он опять, нервничая, посмотрел на часы. Время не хотело двигаться. Было только восемь часов.

Он толкался по улице, не зная, куда деваться. Зашел в кафе, попробовал почитать газету. Но почувствовал, что слова мешают ему: там тоже все время упоминалась родина и долг; эти фразы путали весь его план. Он выпил рюмку коньяку, потом вторую, чтобы освободиться от горечи в горле. Судорожно измышлял он, как провести время, и снова стал собирать крохи предстоящего вообра-

жаемого разговора. Вдруг он коснулся своей щеки: «Не брит, ведь я не брит!»

Он побежал к парикмахеру напротив, вымыл голову, постригся, это отняло еще полчаса. Потом ему пришло в голову, что следует быть элегантным. Это важно. Они только с бедняками обращаются надменно, на них они накидываются; но если явиться элегантно одетым, светским, беззаботным, они заговорят другим тоном. Эта мысль почти опьянила его. Он дал почистить себе сюртук, купил перчатки. Выбирая их, он долго размышлял. Желтые выглядели вызывающе, франтовато; светло-серые—это производит, пожалуй, впечатление. Потом он опять стал бродить по улице. Перед зеркалом портного окинул себя взглядом, поправил галстук. У него ничего не было в руках; ему пришло в голову купить трость, это придаст визиту характер случайности, безразличия. Быстро он побежал и выбрал себе палку. Когда он вышел из магазина, башенные часы пробили три четверти десятого. Еще раз он повторил урок. Великолепно. Новая редакция: «Я знаю свой долг»—казалась ему самым сильным местом. Уверенно, твердо ступая, направился он к консульству и легко, словно мальчик, взбежал по лестнице.

Минуту спустя, как только служитель открыл дверь,—его охватил уже внезапный страх: не окажется ли его расчет ошибочным? Все было не так, как он ожидал. Когда он спросил чиновника, ему ответили, что господин секретарь занят, придется подождать. И не слишком вежливо указали на стул в ряду, где уже сидели трое с озабоченными лицами. Нехотя уселся он и с ненавистью ощутил, что здесь он вещь, дело, случай. Соседи делились друг с другом своими маленькими горестями; один из них плачущим и разбитым голосом рассказывал, что он был интернирован во Франции в течение двух лет, и что его

не хотят ссудить деньгами на проезд домой, другой жаловался, что ему никто не хочет помочь получить службу, и что у него трое детей. Фердинанд содрогался от злости; его, оказывается, посадили на скамью просителей; он заметил, что подавленный и вместе с тем раздражительный тон этих маленьких людей нервирует его. Он хотел еще раз продумать план разговора, но глупая болтовня не давала ему возможности собраться с мыслями. Охотнее всего он крикнул бы им: «Молчать, сброд вы этакий!», или вынул бы деньги, чтобы отослать их домой, но воля его была парализована, и он сидел рядом с ними, со шляпой в руках, как и все они. К тому же его смущало постоянное движение взад и вперед людей, то открывавших, то закрывавших дверь, — он опасался, что кто-нибудь из знакомых увидит его здесь, среди просителей; он вскакивал, готовый выйти каждый раз, когда открывалась дверь, и снова разочарованно садился. Ему становилось все яснее, что он должен уйти, быстро бежать, пока энергия не оставила его окончательно. Он собрался, наконец, с силами и сказал служителю, стоявшему рядом с ним, точно караульный: — Я лучше завтра зайду.

Но служитель успокоил его: «Господин секретарь сейчас освободится», и он снова ощутил дрожь в коленях. Он здесь в плену, и не могло быть речи о сопротивлении.

Наконец, послышался шелест платья, прошла, улыбаясь и окинув ожидающих взором превосходства, какая-то кокетливая дама, и служитель крикнул: «Господин секретарь принимает».

Фердинанд встал, — слишком поздно он заметил, что забыл трость и перчатки на окне, но вернуться за ними он не мог, дверь уже открылась, и со взором, полуустремленным назад, смущенный чисто-внешними мыслями, он вошел. Чиновник сидел, читая, за письменным столом

мельком взглянул на него, кивнул головой, не приглашая сесть, и улыбнулся с холодной вежливостью:

— А, наш *Magister artium*! Сейчас, сейчас! — Он поднялся и крикнул в соседнюю комнату: — Пожалуйста, дело Фердинанда Р., третьего дня исполнено, вы помните: приказ о явке, — и продолжал, садясь: — И вы нас покидаете! Надеюсь, вы по крайней мере хорошо провели время здесь в Швейцарии. Вы прекрасно выглядите, — и бегло просматривая принесенное писарем дело, проговорил: — Явка в М... да... да... верно... все в порядке... я уже велел приготовить бумаги... возмещения путевых издержек вы, вероятно, не требуете?

Фердинанд, растерянный, услышал, как прошептали его губы:

— Нет... нет.

Чиновник подписал бумагу и подал ему.

— Собственно говоря, вы должны бы завтра уже уехать, но я думаю, это не так страшно. Дайте спокойно подсохнуть краскам на последней картине. Если вам нужен еще день-другой для приведения дел в порядок, я беру ответственность на себя. Отечество не пострадает от этого.

Фердинанд почувствовал, что это шутка, и что ему следует улыбнуться, и с ужасом заметил, что действительно его губы вежливо искривились. «Необходимо что-нибудь сказать, я должен ответить, — подсказывал ему внутренний голос, — только не стоять, как пень», и, наконец, у него вырвалось:

— Приказа о явке достаточно... мне не нужно... паспорта?

— Нет, нет, — улыбнулся чиновник, — у вас не будет никаких затруднений на границе. Впрочем, о вас уже дано знать. Итак, счастливого пути!

Он протянул ему руку. Фердинанд понял, что должен уйти. У него потемнело в глазах, быстро он направился к двери, отвращение душило его. «Направо, пожалуйста, направо», сказал голос за его спиной: он ошибся дверью, и чиновник с легкой улыбкой, как показалось его затуманенному сознанию, открыл ему выходную дверь.

— Спасибо, спасибо... пожалуйста, не беспокойтесь, — проговорил он, возмущаясь своей излишней вежливостью.

За дверью, когда служитель подавал ему перчатки и палку, он вспомнил: «Денежные обязательства... отметить официально». Никогда в жизни ему не было еще так стыдно: а ведь он его еще поблагодарил, вежливо поблагодарил!.. Но в нем уже не было возмущения. Бледный, спустился он с лестницы, и ему казалось, что это не он спускается. Могучая сила, чужая, безжалостная руководила им, та сила, которая покорила себе весь мир.

Поздно вечером вернулся он домой. Ноги подкашивались, несколько часов он бродил бесцельно и трижды уходил от собственных дверей; наконец, он попытался пробраться в дом задним ходом через виноградники, по скрытой дорожке. Но верный пес заметил его. С неистовым лаем подскочил он и стал ласкаться. У дверей стояла жена, и с первого взгляда он заметил, что она догадалась обо всем. Безмолвно он последовал за ней, стыд угнетал его.

Но она не была жестока. Она не смотрела на него, старалась не мучить его. Поставила на стол холодное мясо и, когда он послушно сел к столу, подошла к нему.

— Фердинанд, — начала она дрожащим голосом, — ты болен. С тобой теперь нельзя говорить. Я не буду тебя упрекать, ты действуешь теперь не по собственному побуждению, и я чувствую, как ты страдаешь. Но обещай мне, что ты ничего не предпримешь в этом деле, не посоветовавшись со мной.

Он молчал. Ее голос зазвучал взволнованно:

— Я никогда не вмешивалась в твои личные дела, я гордилась тем, что предоставляла тебе полную свободу в твоих решениях. Но теперь речь идет не только о твоей жизни, но и о моей. Нам годы нужны были для создания нашего счастья, и я ими не пожертвую так легко, как ты, ни государству, ни бойне, ни твоему тщеславию, ни твоей слабости. Никому, слышишь, никому! Если ты бессилен перед ними, я сильна. Я знаю, к чему это клонится, и я не уступлю.

Он все еще молчал, и это рабское виноватое молчание озлобляло ее.

— Я не уступлю этому клочку бумаги, я не признаю закона, который требует убийства. Я не дам его слугам согнуть себя в бараний рог. Вы, мужчины, все теперь заражены идеологией, политикой, этикой; мы, женщины, чувствуем еще попрежнему. Я знаю, что такое родина, но понимаю, во что она обратилась в наши дни: в средоточие убийства и рабства. Можно чувствовать себя частицей своего народа, но если этот народ охвачен безумием, не следует безумствовать с ним вместе. Если для них ты уже стал числом, номером, орудием, пушечным мясом, то я еще вижу в тебе живого человека, и я тебя им не уступаю. Я не отдам тебя. Никогда я не осмеливалась тобой распорядиться, но теперь я считаю своим делом защитить тебя; до сих пор ты был разумным, зрелым человеком с твердой волей, теперь, окончательно потеряв волю, ты обратился в негодную поломанную машину долга, подобно миллионам других жертв. Они завладели твоими нервами, но забыли обо мне; никогда я не была так сильна, как теперь.

Он молчал, погруженный в свои мысли. В нем не было сил для борьбы ни с ними, ни с ней.

Она выпрямилась, словно готовясь к битве. Ее голос звучал резко, напряженно:

— Что сказали тебе в консульстве? Я хочу знать.

В этих словах звучал вызов. Усталый, он вынул листок и подал ей. Сдвинув брови, стиснув зубы, она прочитала его, потом презрительно бросила на стол.

— Однако, как они торопятся, эти господа! Уже завтра! И ты, вероятно, поблагодарил их, почтительно расшаркался перед ними. «Завтра явиться». Явиться! Вернее сказать, обратиться в раба. Нет, до этого мы еще не дошли! Далеко не дошли!

Фердинанд встал. Он был бледен, и его рука судорожно схватилась за кресло.

— Паула, не будем себя обманывать. Мы дошли до этого! Себя не переделаешь. Я пробовал сопротивляться. Ничего не вышло. Этот лист—это я сам. Если я его порву, я все же останусь в его власти. Не мучь меня. Все равно я бы не чувствовал себя свободным здесь. Каждый час я бы помнил, что меня призывают, хватают, тянут, тормозят. Там мне будет легче; даже в темнице можно чувствовать себя свободным. Беглец лишен чувства свободы. И почему же допускать самое худшее? Они меня признали негодным в первый раз, может быть признают негодным и теперь? Может быть они не дадут мне ружья в руки? Я даже уверен, что мне дадут какую-нибудь легкую службу. Зачем же допускать самое страшное? Может быть это вовсе не так опасно, может быть на мою долю выпадет легкий жребий?

Она оставалась неумолима.

— Не об этом теперь речь, Фердинанд. Не о том, дадут ли они тебе легкую или тяжелую службу. Должен ли ты служить тому, что ты презираешь, должен ли принять участие в самом ужасном преступлении мира? Кто не со-

противляется, тот делается соучастником. А ты можешь сопротивляться, ты должен это сделать.

— Могу? Ничего я не могу! Ничего я больше не могу! Все, что мне давало силу, мое отвращение, моя ненависть, мое возмущение против этого безумия, все это меня теперь угнетает. Не мучь меня, прошу, не мучь меня, не говори мне всего этого.

— Не я говорю. Ты сам должен себе сказать, что они не имеют права посягать на жизнь человека.

— Право! Право! Разве на свете существует теперь право? Люди убили его. Каждый в отдельности может иметь право, но у них, у них власть, и это теперь все.

— Кто им дал эту власть? Вы. Власть у них, пока вы останетесь трусами. Все то, что наполняет теперь ужасом человечество, держится в каждой стране волей десятка людей, и десяток других людей может положить этому конец. Один человек, один единственный живой человек, непризнающий их, может уничтожить эту власть. Но до тех пор, пока вы гнете свои спины и говорите: «может быть, мне повезет», пока вы виляете и хотите проскользнуть, вместо того, чтобы нанести удар прямо в сердце, до тех пор вы рабы и лучшей участи не заслуживаете. Нельзя прятаться и сохранять при этом достоинство мужчины, нужно сказать «нет», это теперь единственный ваш долг; он не в том, чтобы дать себя заколоть.

— Но, Паула... ты допускаешь... чтобы я...

— Сказал «нет», если твой внутренний голос диктует тебе это. Ты знаешь, я люблю твою жизнь, люблю твою свободу, люблю твою работу. И если ты мне сегодня скажешь: «я должен идти с оружием в руках защищать правое дело», я отвечу: «иди!» Но если ты идешь в угоду жи, в которую сам не веришь, идешь лишь по слабости и распатанности нервов, в надежде проскользнуть, я скажу:

«я презираю тебя, да, презираю!» Если ты хочешь пойти, как достойный человек, бороться за человечество, в которое ты веришь, я тебя не удерживаю. Но пойти, чтобы быть зверем между зверями, рабом между рабами, этого я не допущу. Можно пожертвовать собой за идею, но не за безумие других. Пусть умирают за родину те, кто в нее верят...

— Паула!—невольно воскликнул он.

— Неужели моя речь слишком свободна? Неужели ты уже чувствуешь за спиной палку дисциплины? Не бойся. Ты ведь еще в Швейцарии. Ты бы хотел, чтобы я молчала или сказала тебе, что с тобой ничего не случится. Но теперь не время сентиментальничать. Теперь все поставлено на карту: и твоя и моя жизнь.

— Паула,—снова попытался он прервать ее.

— Нет у меня больше жалости к тебе. Я избрала и любила тебя, как свободного человека. Но я презираю слабовольных, лгущих себе самим. Кого мне жалеть? Что я тебе? Фельдфебель черкнул бумажку, и ты готов меня бросить и побежать на его зов. Но я не позволю тебе бросить меня и потом снова вернуться, решаешь теперь: они или я. Презрение к ним или ко мне. Я сознаю, много нам придется с тобой перенести, я никогда больше не увижу ни своих родителей, ни сестер, ни братьев, обратный путь нам закрыт, но я готова пойти на это, если ты останешься со мной. Но если ты теперь со мной порвешь,—то это навсегда.

Стон вырвался из его груди. Но она пылала в неудержимом гневе.

— Я или он! Иного выбора быть не может. Фердинанд, опомнись, пока еще есть время. Я часто горевала, что у нас нет ребенка, теперь я этому рада. Я не хочу иметь ребенка от слабовольного человека, не желаю вос-

питывать сирот «военного времени». Никогда ты не был мне так близок, как в этот час, когда я причиняю тебе, боль. Но я говорю: разлуки на время быть не может. Мы простимся с тобой навсегда. Если ты меня покидаешь, чтобы вступить в ряды этих убийц в мундирах, то возврата не будет. Я не желаю быть сообщницей преступников, я не уступлю живого человека этому вампиру-государству. Он или я,—выбирай.

Паула ушла, хлопнув дверью. Он содрогнулся от резкого толчка. Потом опустился на стул и потупился беспомощно. Голова устало упала на сжатые в кулаки руки. И наконец, вырвалось из его груди рыдание; он плакал, как дитя.

* * *

После обеда она не входила в комнату, но он чувствовал, что за дверью стоит ее непреклонная воля, враждебная и сопротивляющаяся. В то же время он ощущал в своей груди ту, другую волю, толкавшую его вперед подобно стальной шестерне. Минутами он пытался дать себе во всем отчет, но мысли ускользали, и пока он сидел неподвижно, словно в раздумьи, остаток его самообладания превратился в жгучее нервное возбуждение. Как-будто сверхъестественные силы схватили с двух концов нить его жизни, и было в нем лишь одно желанье: чтобы она разорвалась, наконец.

Желая рассеяться, он стал разбирать свои ящики, рвал письма, прочитывал иные, не понимая ни слова, шагал по комнате, опять садился, гонимый то беспокойством, то усталостью. И вдруг поймал себя на том, что складывает самые необходимые дорожные вещи, вытаскивает из-под дивана мешок; он пристально глядел на собственные руки, которые все это проделывали вполне целесообразно,

без участия его воли. Он вздрогнул, заметив стоявший на столе упакованный мешок, ему казалось, что он чувствует его тяжесть на своих плечах, и вместе с нею весь гнет современности.

Дверь открылась. Вошла жена с керосиновой лампой в руке и поставила ее на стол; в круг дрожащего света попал приготовленный им мешок. В резком освещении встал из мрака скрытый позор его. Он пробормотал:

— Это так, на всякий случай... у меня есть еще время... я...,—но неподвижный, каменный, что-то укрывающий взор обволок его слова и смял их.

Несколько минут она пристально глядела на него, ожесточенно сжав губы. Неподвижно и слегка шатаясь, как перед обмороком, она впиалась в него глазами. Напряженная складка вокруг губ разгладилась. Но она отвернулась, плечи ее дрогнули, и, не оглядываясь, она ушла.

Через несколько минут пришла служанка и принесла ужин для него одного. Место рядом с ним оставалось пустым, и когда он, полный недоумения, посмотрел в ту сторону,—жестоким символом расположился в ее кресле вещевой мешок. Ему показалось, что его уже нет, что он ушел, умер для этого дома: мрачны были стены за пределами светлого круга от лампы, а на дворе, в мерцании чужих огней, нависла колеблемая ветром южная ночь. Все вокруг было объято тишиной... Бесконечное небо высилось над низкой землей и усиливало одиночество. Он чувствовал, как звено за звеном отпадает все окружающее—дом, окрестность, работа, жена; его широко раскинувшаяся жизнь вдруг сжалась и тяжестью налегла на сердце. Тоска по любви, по доброму, ласковому слову охватила его. Он готов был уступить всем доводам, лишь бы вернуться как-нибудь к прошлому. Глубокая грусть

взяла верх над трепетом тревоги, и великое чувство разлуки поблекло перед детской жадой хоть какой-нибудь ласки.

Он подошел к двери, коснулся ручки. Она не подавалась. Дверь была заперта. Он робко постучал. Ему не ответили. Он постучал еще раз, сердце стучало в унисон. Полная тишина. Он понял теперь: все проиграно. Холод пронизал его. Он потушил свет, бросился, одетый, на диван, закутался в одеяло: он жаждал мрака, забвения. Потом еще раз прислушался. Ему послышались чьи-то шаги. Напряженно всмотрелся он в дверь. Она оставалась неподвижной. Ничего. Голова опять поникла безнадежно.

Вдруг он почувствовал снизу тихое прикосновение. Испуганно вскочил, но сейчас же успокоился, глубоко тронутый. Собака, проскользнувшая вместе со служанкой и лежавшая под диваном, прижималась к нему и теплым языком лизала ему руку. Бессознательная любовь животного наполнила теплом его душу: ведь эта любовь пришла из отмиравшего уже мира, была последним приветом его прошлой жизни. Он нагнулся и обнял собаку, как человека. «Кто-то на земле еще сохранил ко мне привязанность, не презирает меня,—думал он,—для нее и я еще не машина, не орудие убийства, не податливое, безвольное существо, а человек, сроднившийся с нею чувством привязанности». Он, не переставая, гладил ее мягкую шерсть. Собака прижималась все ближе, как-будто знала, как он одинок; оба дышали тихо, постепенно погружаясь в сон.

* *
*

Проснувшись, он почувствовал себя свежее; за окном сияло ясное утро; южный ветер разогнал завесу мрака со всего окружающего, и над озером белую каймою

заблестела цепь далеких гор. Фердинанд вскочил, еще во власти сна, и очнулся окончательно, лишь увидев завязанный мешок. Сразу все прежние мысли нахлынули на него, но при свете дня они казались легкими.

«Зачем только я все уложил?—спросил он себя.— Зачем? Ведь я не собираюсь ехать. Весна приближается. Я хочу рисовать. Ведь это не к спеху. Он сам сказал, что дело терпит. Даже животное и то не торопится на бойню. Жена права: это преступление по отношению к ней, ко мне, ко всем. Что они могут со мной сделать? Несколько недель ареста, быть-может, если я опоздаю, но разве служба не та же тюрьма? Я не обладаю гражданским рвением, я считаю заслугой быть непослушным в это рабское время. Я и не думаю уезжать. Я остаюсь. Я напишу раньше ландшафт, где я был счастлив. И пока картина не будет висеть в рамке, я не пойду. Я не дам себя загнать, как корову. Мне некуда торопиться».

Он взял мешок, высоко поднял его и бросил в угол. Ему приятно было ощутить при этом свою энергию. Обновленная сила требовала проявления воли. Он вынул документ из бумажника, чтобы порвать его.

Но удивительно: военные слова снова, волшебным образом, обрели власть над ним. Он начал читать: «Вы приглашаетесь»,—и у него захватило дух. Это было приказание, не допускавшее противоречий. Ноги подкашивались. Снова поднялось в нем это неведомое чувство. Руки дрожали. Сила улетучилась. Откуда-то повеяло холодом, как при сквозняке; родилось беспокойство, стальной механизм чужой воли снова пришел в движение, надсаживая все его нервы, отдаваясь во всем теле. Незольно он посмотрел на часы.

— Еще есть время,—пробормотал он, уже не понимая, к чему относятся эти слова, к утреннему ли поезду на гра-

лицу, или к разрешенной себе отсрочке. Она уже владела им, эта таинственная, внутренняя тяга, подобная все уносящему отливу, овладела сильнее прежнего, грозя сломить последнее сопротивление; и вместе с тем он ощутил страх, какой-то беспомощный страх перед падением. Он знал: если его никто теперь не удержит, он погиб.

Он пробрался к двери жены и жадно прислушался. Ни малейшего движения. Робко постучал. Молчание. Осторожно надавил на ручку. Дверь была открыта, но комната пуста, пуста и неубранная постель. Он испугался. Тихо произнес ее имя, никто не отозвался; он повторил, обеспокоенный:

— Паула!—и потом громко, все громче, словно человек, подвергшийся нападению: — Паула! Паула! Паула!

Никто не шевелился. Он добрался до кухни. Она была пуста. Ужас растерянности наполнил его внутренней дрожью. Он поднялся в студию, не зная зачем: проститься или дать себя удержать. Но и тут никого не было, и даже верная собака куда-то пропала. Все покинули его. Снова яростно охватило его одиночество и сломило последние силы.

Он пошел обратно через пустой дом в свою комнату, схватил мешок. Он почувствовал какое-то облегчение, уступая принуждению. «Ее вина,—подумал он,—только ее. Зачем она ушла? Она должна была удержать меня, это был ее долг. Она могла меня спасти от меня самого, но не захотела. Она презирает меня. Ее любовь прошла. Она хочет, чтоб я пал, и я падаю. Кровь моя падет на ее голову. Ее вина, не моя! Ее!»

Еще раз, выходя из дому, он обернулся, не позовет ли кто-нибудь, не услышит ли он ласкового слова, не разобьет ли в нем кто кулаками эту железную машину покорности. Тишина. Никто не позвал. Никто не показался. Все

покинули его, и он уже видел себя падающим в бездонную пропасть. И ему пришла мысль: не лучше ли сделать еще десять шагов к озеру и с моста броситься туда, где вечный мир.

Тяжкий бой часов раздался с церковной башни. С ясного неба, когда-то несказанно любимого, пал этот резкий призыв и поднял его, как ударом кнута. Осталось еще десять минут: поезд примчится, и все будет кончено, безвозвратно, навеки. Еще десять минут свободы. Но он уже не чувствовал себя свободным; как от погони, бросился он вперед; шатаясь, спотыкаясь, задыхаясь, бежал все быстрее и быстрее, пока почти у самого перрона не столкнулся с кем-то, стоявшим у барьера. Он испугался. Мешок выскользнул из дрожащей руки. Перед ним стояла жена, бледная от бессонной ночи, устремив на него полный печали взор.

— Я знала, что ты придешь. Я знаю уже три дня. Но я и не думаю тебя покинуть. С раннего утра я здесь жду,—с первого поезда, и буду ждать до последнего. Пока я дышу, они тебя не возьмут. Фердинанд, опомнись! Ты ведь сам сказал, что есть еще время, почему же ты так спешишь?

Он робко посмотрел на нее.

— Потому что... обо мне уже дано знать... они меня ждут.

— Что ждет тебя? Рабство и, может быть, смерть, больше никто. Проснись, Фердинанд, ощути свою свободу! Никто не властен над тобой, никто не смеет тебе приказывать! Ты слышишь, ты свободен, свободен, свободен! Я тебе буду повторять это тысячи раз, каждый час, каждую минуту, пока ты этого не почувствуешь сам. Ты свободен, свободен, свободен!

— Пожалуйста, — сказал он тихо, так как два проходивших крестьянина с любопытством оглянулись, —

не говори так громко. Люди уже обращают на нас внимание...

— Люди! Люди!—кричала она гневно.—Какое мне дело до них? Чем они мне помогут, если тебя убьют или ты притащишься инвалидом? Плевать мне на них, на их страдание, на любовь и благодарность,—я хочу тебя видеть свободным, живым человеком. Свободным хочу тебя видеть, свободным, как подобает человеку, а не пушечным мясом...

— Паула! — он пытался успокоить обезумевшую женщину. Она оттолкнула его.

— Оставь меня со своим жалким глупым страхом. Я в свободной стране, я могу высказать все, что думаю, я не раба и не отдам тебя в рабство. Фердинанд, если ты уедешь, я брошусь под паровоз...

— Паула!—Он схватил ее за руку. Но ее лицо омрачилось.

— Нет,—продолжала она,—я не хочу лгать. Может быть и у меня не хватит смелости. Миллионы женщин не осмелились сделать то, что они обязаны были сделать, когда увозили их мужей и их сыновей. Что я стану делать, когда ты уедешь? Хныкать, реветь, бегать в церковь и просить бога, чтобы тебе досталась легкая служба. И я, может быть, буду даже осуждать тех, кто не пошел. Все возможно в наше время.

— Паула,—он сжал ее руки,—зачем ты причиняешь мне столько боли, когда тут ничего нельзя поделать?

— Ты хочешь, чтобы я тебе облегчила твой уход? Нет, пусть тебе будет тяжело, невыносимо тяжело, так тяжело, чтобы стало невозможно. Вот я здесь стою: силой меня толкни, кулаками, растопчи ногами. Я тебя не отпущу!

Дали сигнал. Он встрепенулся, бледный, взволнованный; потянулся к мешку. Но она схватила мешок раньше него и стала поперек дороги.

— Отлаф!—простонал он.

— Никогда! никогда!—кричала она, вступая с ним в борьбу.

Крестьяне собрались вокруг и хохотали. Посыпались вызывающие, насмешливые возгласы, дети бросили свои игры и прибежали посмотреть. Но они боролись из-за мешка со всей силой озлобления, точно их жизнь была поставлена на карту.

В этот миг раздался свисток паровоза. Он выпустил из рук мешок, побежал по направлению к поезду, безумно торопясь, не оглядываясь, спотыкаясь о рельсы, и бросился в вагон. Громкий смех поднялся вокруг, крестьяне шумно выражали свою радость. Крики: «Беги скорее, прыгай, прыгай, не то она тебя догонит!» провожали его, трескучий смех хлестал и вгонял в краску. Поезд умчался.

Она стояла, крепко сжимая мешок, осыпаемая насмешками, и пристально глядела вслед поезду, который, ускоряя ход, быстро исчез из вида. Ни прощания, ни привета не дождалась она из окна вагона. Слезы хлынули из ее глаз и заволокли взоры.

* * *

Он сидел, забившись в угол, не осмеливаясь даже бросить взгляда в окно быстро мчавшегося поезда. Там, за окном, пролетало, разорванное в клочья, все, что было ему дорого: домик на холме с его картинами, стол, стул и кровать, жена, собака, счастье многих и многих дней. И ландшафт, блестящей ширью которого наслаждался его взор, был отброшен назад, а с ним его свобода и вся его жизнь. Ему казалось, что нити жизни порваны, ничто не принадлежит ему, кроме этого белого листика, этого шуршащего в кармане листка, с которым вместе мчится он, гонимый велением злой судьбы.

Смутно и сбивчиво ощущал он все происходившее. Кондуктор потребовал билет, но у него не оказалось; точно во сне назвал он нужную станцию, машинально пересел в другой поезд: внутренний механизм все совершал без его участия, и это уже не причиняло ему никакой боли. На швейцарской границе потребовали его бумаги. Он предъявил: у него остался только этот ничтожный листок. Воспоминание о чем-то потерянном тихо шевельнулось в нем, и голос из глубины, точно в сновидении, шепнул: «Вернись! Ты еще свободен! Ты не обязан идти». Но механизм в крови, безмолвно, но властно подчинивший себе и нервы и тело, неумолимо толкал его вперед, повторяя: «Ты должен».

* *
*

Он стоял на перроне станции, пограничной с его родной. На той стороне, в бледном свете дня, явственно виднелся переброшенный через реку мост: граница. Его усталая мысль пыталась сосредоточиться на этом слове: по одну сторону можно еще жить, дышать, свободно высказываться, проявлять волю, служить серьезному делу, а в восьмистах шагах от моста воля у человека вырывается, как у животного внутренности, надо слепо подчиняться чужим людям, вонзать нож в чужую грудь. И только этот вот маленький мост, жалкая сотня свай и два пролета! И два человека, оба в бессмысленных пестрых одеяниях, стоят с ружьями и охраняют мост. Что-то смутное тревожило его; он сознавал неясность своих мыслей, но они текли своим путем. Зачем охраняют они эту грудь дерева? Им нужно, чтобы никто не перешел из одной страны в другую, чтобы никто не удрал из той страны, где поработают волю. Но он сам, ведь он стремится туда? Да, но в другом смысле, из свободы в...

Он загнулся. Его гипнотизировала одна мысль—о границе. Когда он увидел ее перед собой, реальную, охраняемую двумя скучающими людьми в солдатской форме, он перестал ясно мыслить. Он попытался восстановить все: происходит война. Но война ведь в стране по ту сторону моста—за один километр отсюда война, или, вернее, за один километр без двухсот метров начинается война. Ему пришло в голову,—может быть, еще на десять метров ближе, итак: за тысячу восемьсот метров без десяти. У него явилось вдруг сумасшедшее желание выяснить: идет ли война на этих десяти метрах земли, или нет? Эта смешная мысль развеселила его. Где-то должна была быть разделяющая полоса. А что, если подойти к границе, одной ногой стать на мосту, другой на земле, как тогда:—свободен он или уже солдат? Одна нога в штатском, другая в военном. Все ребячливее становились мысли: а если стать на мосту, а потом побежать обратно, будешь считаться дезертиром? А вода, на военной или на мирной территории? И есть ли на дне где-нибудь полоса национальных цветов? Ну, а рыбы, имеют они, собственно говоря, право переплыть в воюющую страну? И как вообще обстоит дело с животными? Он подумал о своей собаке. Если бы она пошла за ним, ее бы, наверное, тоже мобилизовали, ее бы запрягли, чтобы подвозить пушки, или заставили под дождем пуль таскать раненых. Слава богу, что она осталась дома...

Слава богу! Он испугался этой мысли и встрепенулся. С тех пор как увидел он перед собой границу,—этот мост между жизнью и смертью,—он ощутил как что-то в нем шевельнулось, появились проблески сознания и сопротивления. На рельсах на другой стороне стоял еще поезд, который привез его сюда; только паровоз, повернутый, смотрел громадными своими стеклянными глазами в обратную сторону, готовый везти вагоны опять в Швейцарию.

Это был знак, что время еще не ушло. Он почувствовал, как с болью заговорил в нем отмерший было нерв тоски по утраченному дому, как возрождается в нем прежний человек. На той стороне моста видел он солдата, одетого в чужую форму, с тяжелым ружьем на плече, бессмысленно шагающего взад и вперед, и ощутил в нем себя. Теперь только познал он свою судьбу и, познав, увидел свою гибель. И голос жизни заговорил в нем.

Зазвенели сигналы, и их резкий звук заглушил голос еще неустановившегося чувства. Он знал, что стоит ему сесть в поезд и, проехав в три минуты эти два километра, оказаться по ту сторону моста, как все будет потеряно. И он знал, что поедет. А, между тем, еще бы четверть часа,—и он спасен. Ноги подкашивались.

Но не из той дали, куда устремил он свои взоры, приближался поезд. Его медленный стук раздавался по ту сторону моста. И сразу перрон оживился, люди стеклись со всех сторон, женщины проталкивались в шумном волнении, швейцарские солдаты становились в ряды. И вдруг заиграла музыка,—он изумленно прислушался, не веря своим ушам. Звуки марсельезы раздались, могучие, ясные! Враждебный гимн для встречи германского поезда!

Поезд загромыхал, запыхтел и остановился. Все бросилось вперед, двери вагонов раскрылись, показались бледные лица, с восторженным блеском в лихорадочно сияющих глазах,—французы в форме, раненые французы, враги, враги! Сновидением показалось ему это, пока он не понял, что поезд привез раненых пленных для обмена; здесь свобода для них, спасение от безумия войны. И все они чувствовали это, знали, переживали; как они раскланивались, звали, смеялись,—хотя многим из них смех причинял еще страдания! Вот один, шатаясь и спотыкаясь, проковылял на костылях, остановился у столба и закричал: «La Suisse,

la Suisse! Dieu soit béni! Женщины, рыдая, бегали от окна к окну, пока не находили долгожданного, любимого; голоса смешались в призывах, рыданиях, криках, в сплошь радостном ликовании. Музыка смолкла. Несколько мгновений слышен был только прибой восторженного чувства, с шумом и плеском перекатывавшийся через головы людей.

Постепенно все улеглось. Группы разошлись, блаженно объединенные тихой радостью и торопливою беседой. Несколько женщин, в поисках, еще блуждали по платформе, сестры милосердия раздавали пищу и подарки. Тяжело больных выносили на носилках, бледных, завернутых в белые простыни, бережно окруженных нежными заботами; и обнажилась вся бездна горя человеческого: люди искалеченные, с пустыми рукавами, изнуренные и полусожженные, — остатки одичалого и состарившегося юношества. Но глаза их, блестящие успокоенно, обращены были к небу: все они чувствовали, что настал конец паомничеству.

Фердинанд стоял, ошеломленный неожиданным зрелищем, сердце снова бурно забилося в груди, под листком бумаги. В стороне одиноко, никем не встреченные, стояли носилки. Он подошел неверными шагами к забытому среди чужой радости. Бледностью светилось лицо раненого, обросшее запущенной бородой; беспомощно свисала простреленная рука. Глаза были закрыты, губы бледны. Фердинанд задрожал. Тихо поднял он свисавшую руку и заботливо положил ее на грудь страдальца. И чужой человек открыл глаза, посмотрел на него, и из необъятной дали неведомых страданий благодарная улыбка приветствовала его.

И, точно от удара молнии, содрогнулся он. Неужели он свершит подобное? Так унижит человека, глазами ненависти взглянет на братьев своих, примет по доброй воле

участие в великом преступлении? Мощно завладело им сознание истины и сломило механизм в груди; жажда свободы восторжествовала, наполнила его блаженством, уничтожила слепую покорность. И могучий, затаенный дотоле голос прозвучал: «Никогда! Никогда!» Это было выше его сил. Рыдая, упал он у носилок.

Люди бросились к нему. Решили, что с ним нервный припадок. Прибежал врач. Но он медленно встал, отказываясь от помощи; его лицо выражало спокойствие. Он достал бумажник, вынул последние деньги, положил их на ложе раненого, взял свою бумагу, медленно, вдумчиво прочел ее еще раз. Потом порвал и рассеял клочья по перрону. Люди смотрели на него, как на безумного. Но он не ощущал более стыда, облегченно сознавал, что он исцелен. Музыка заиграла снова, но громче музыки пело в нем его ликующее сердце.

* * *

Поздно вечером вернулся он к своему дому. Внутри было темно, мрачно, как в гробу. Он постучал. Послышались шаги, жена открыла дверь. Увидев его, она замерла в испуге. Но он нежно взял ее за руку, повел в комнату. Они не говорили ни слова; оба дрожали от счастья. Он вошел в свою комнату: его картины были здесь, она принесла их из мастерской, чтобы быть ближе к нему среди его творений. Безграничную любовь почувствовал он в этом и понял, как много он сохранил. Молча он пожал ее руку. Из кухни прибежала собака и, подпрыгнув, бросилась к нему: все ждали его; он сознавал, что никогда своим истинным существом не покидал этого дома, и все же ему казалось, что он воскрес из мертвых.

Оба молчали. Она нежно взяла его за руку и подвела к окну; прекрасный мир сиял под бесконечным небом

бесчисленными своими звездами; страдания, которые создавало себе обезумевшее человечество, не могли нарушить покоя мироздания. И, глядя в высь, он понял, что нет для человека на земле закона, кроме созданного ею, землею, что лишь закон любви связует человека. На губах своих ощутил он дыхание жены, и легкая дрожь пробежала по их телам от сладостного сознания близости. Они молчали. В бесконечную свободу возносились их сердца, сбросившие гнет законов и слов человеческих.

**СЛУЧАЙ НА ЖЕНЕВСКОМ
ОЗЕРЕ**

ПЕРЕВОД Ц. С. БЕРНШТЕЙН

В летнюю ночь 1918 года, неподалеку от маленького швейцарского городка Вилльнев, рыбак, плывший в лодке по Женевскому озеру, заметил на воде какой-то странный предмет. Приблизившись, он различил кое-как сколоченный из бревен плот; находившийся на нем голый человек пытался продвинуться вперед при помощи доски, заменявшей ему весло. Удивленный рыбак подъехал к плоту, помог несчастному перебраться в лодку, кое-как прикрыл его наготу сетями и попытался вступить в разговор с забившимся в угол лодки, дрожащим от холода человеком. Тот, однако, отвечал на непонятном языке, ни одно слово которого не походило на местное наречие. Рыбак, не пытаясь более разговаривать, собрал свои сети и широкими взмахами весел стал грести к берегу.

По мере того как в лучах зари вырисовывались очертания берега, просветлялось и лицо голого человека. Детская улыбка пробилась сквозь спутанную бороду, прикрывавшую его широкий рот; рука протянулась вперед; полувопросительно, полувверенно лепетал он какое-то слово в роде «Россия». По мере приближения лодки к берегу голос его звучал радостнее и увереннее.

Лодка врезалась в берег, где жена и дочери рыбака ждали уже привезенного им улова; при виде завернутого в сети голого человека они разбежались с визгом, как некогда прислужницы Навзикаи. Лишь постепенно, привлеченные странной вестью, собрались на берегу и мужчины

из деревни, во главе с преисполненным величия блюстителем порядка. Богатый опыт военного времени и бесчисленные инструкции побудили последнего не сомневаться в том, что он имеет дело с дезертиром, приплывшим с французского берега. Однако, его следовательское рвение по отношению к голому человеку (которого снабдили, между тем, курткой и тиковыми брюками) значительно умерилось,—он не мог добиться ничего, кроме повторявшегося все неувереннее и боязливее вопроса «Россия, Россия?». Несколько раздраженный неудачей, блюститель порядка жестом, не оставлявшим сомнения, пригласил незнакомца следовать за ним; окруженный высыпавшей на берег молодежью, мокрый и босой, в болтающейся на нем одежде, человек был отправлен в общинное управление и заперт там. Он не сопротивлялся, не сказал ни слова; только светлые глаза его потемнели от разочарования, и широкие плечи согнулись, как бы в ожидании удара.

Между тем весть о пойманном в сети человеке дошла до ближайших отелей, и обрадованные неожиданным привлечением дамы и мужчины пришли посмотреть на дикаря. Одна дама поднесла ему конфеты, которые он с недоверчивостью обезьяны отложил в сторону; кто-то сделал фотографический снимок,—все шумно и весело болтали вокруг. Управляющий одной из гостиниц, долго живший за границей и владевший многими языками, обратился к окончательно растерявшемуся незнакомцу на немецком, итальянском, английском и, наконец, на русском языке. Едва только было произнесено первое русское слово, незнакомец вздрогнул, и его добродушное лицо озарилось широчайшей улыбкой; неожиданно он начал рассказывать свою историю уверенно и откровенно. Она была очень длинна и сбивчива; не все в ней было понятно случай-

ному переводчику. Вот какова, в общих чертах, была судьба этого человека.

Он сражался в России; в один прекрасный день погружен был вместе с тысячами других в поезд, в котором везли его куда-то очень далеко; затем пересел на пароход, на котором плыл еще дальше... и было так жарко, что кости, как он выразился, варились в теле. Где-то, наконец, их высадили и отправили дальше, опять в вагонах; затем они атаковали какой-то холм; что было дальше, он не помнит, так как в самом начале пуля угодила ему в ногу. Слушателям, которым управляющий перевел речь беглеца, стало ясно, что он был в составе одной из русских дивизий, посланных через Сибирь и Владивосток на французский фронт и проехавших полмира, чтоб попасть туда. Вместе с сожалением пробудилось у них любопытство. Что заставило несчастного предпринять это необыкновенное бегство? С добродушной и вместе с тем лукавой улыбкой русский охотно поведал о том, как, едва-едва выздоровев, он справился у санитаров, где Россия; они указали ему направление, и он запомнил путь по солнцу и звездам; потом сбежал и, прячась днем от патрулей в сараях, по ночам продолжал свое путешествие.

Десять дней, пока шел он до этого озера, он питался милостыней—хлебом и фруктами. Его объяснения стали сбивчивее. Так как он родился у Байкальского озера, то думал, повидимому, что на другом берегу, очертания которого он заметил вчера вечером, должна быть Россия. Он утащил из какой-то хижины два бревна и, лежа на животе, с помощью заменявшей весло доски, выплыл далеко в озеро, где и нашел его рыбак.

Неуверенный вопрос, будет ли он завтра уже дома, закончил его повествование; едва слова эти были переведены, раздался громкий хохот, быстро сменившийся самым

жарким сочувствием. Каждый из окружающих сунул беглецу, боязливо и жалостно озирающемуся, несколько монет или ассигнаций.

Между тем пришло телефонное сообщение из полицейского управления в Монтре, где с немалым трудом составили протокол о происшествии. Дело было не только в недостаточных познаниях случайного переводчика; жители запада столкнулись с невероятным невежеством этого человека, который знал только имя свое—Борис и мог дать лишь смутные сведения о своей родной деревне. Он назвался крепостным князя Мещерского (он именно так выразился, хотя крепостное право отменено уже целое поколение тому назад) и мог сказать лишь, что живет с женой и тремя детьми за пятьдесят верст от большого озера. Пока решалась его судьба, он стоял среди спорящих, тупо уставившись в землю. Одни советовали отправить его в посольство в Берн, другие боялись, что в этом случае его вернут во Францию; полицейский не мог решить, следует ли рассматривать его как дезертира, или просто как иностранца без документов; писарь заранее высказался против того, что община должна приютить и содержать его. Француз возмущался, почему так возятся с этим жалким дезертиром; надо заставить его работать или отправить обратно. Две дамы взволнованно возражали ему, уверяя, что он не виноват в своем несчастье, что это преступление—отправлять человека на чужбину. Уже готов был возгореться политический спор, когда неожиданно один старый датчанин, энергично вмешавшийся в разговор, предложил заплатить за недельное содержание этого человека, с тем, чтобы полиция пришла тем временем к какому-либо соглашению с посольством. Неожиданное решение вопроса удовлетворило и должностных лиц и частных спорщиков.

Во время спора, становившегося все горячее и горячее, беглец поднял глаза и, не отрываясь, смотрел на губы управляющего, единственного человека, от которого мог он узнать о своей дальнейшей судьбе. Он смутно сознавал волнение, вызванное его присутствием, и, когда разговор смолк, он, в наступившей тишине, с умоляющим видом обратился к управляющему, сложив руки, как женщина перед образом. Выразительность этого движения тронула всех. Управляющий ласково успокоил русского, сказав, что ему нечего бояться, что он здесь в безопасности, и что на ближайшее время ему обеспечен приют на постоялом дворе. Русский хотел было поцеловать ему руку, но тот быстро отдернул ее. Потом он указал ему на соседний дом — небольшой постоялый двор, где он может получить приют и пищу, и, еще раз успокоив его, приветливо простился с ним и направился к своему отелю.

Не отрываясь, глядел беглец вслед управляющему, и чем дальше тот уходил, тем сумрачнее становилось его просветлевшее было лицо. Пристальным взором следил он за ним, пока тот не скрылся в расположенном на холме отеле; он не замечал окружающих, удивленных его видом и посмеивавшихся над ним. Когда кто-то, жалостливо дотронувшись до него, показал ему на постоялый двор, он, сгорбившись и опустив голову, вошел туда. Ему открыли дверь в столовую. Он сел за стол, на который девушка поставила стакан водки, и неподвижно просидел там все утро с омраченным взглядом. Деревенские детишки беспрестанно подбегали к окошку, смеялись и что-то кричали, но он не поднимал головы. Входящие с любопытством поглядывали на него, но он оставался сидеть, уставив глаза в стол, сгорбившись, смущенный и испуганный. Когда к обеду рой людей со смехом наполнил комнату, и сотни слов, непонятных ему, залетали в воздухе, — он с таким

ужасом ощутил свою отчужденность, — глухой и немой среди всего этого скопления, — что с трудом мог дрожащей рукой поднести ложку с супом ко рту. Неожиданно тяжелая слеза скатилась по его щеке и упала на стол. Он испуганно оглянулся. Другие заметили ее, и разговор оборвался. Ему стало стыдно: все ниже к черному дереву опускалась его тяжелая, растрепанная голова.

Так сидел он до вечера. Люди приходили и уходили. Он не замечал их, и они на него не обращали внимания. Как тень, сидел он в тени печки, тяжело опустив руки на стол. Все забыли о нем, и никто не заметил, как в сумерках он поднялся вдруг и тупо, как зверь, зашагал к отелю. Час и другой стоял он перед дверьми, почтительно держа в руках шапку, не поднимая глаз ни на кого. Наконец, один из лакеев, заметив эту необыкновенную фигуру, стоявшую точно черный неподвижный пень, выросший в землю перед освещенным подъездом отеля, — позвал управляющего. Снова радость промелькнула на омраченном лице беглеца, когда к нему обратились на родном языке.

— Что тебе нужно, Борис? — ласково спросил управляющий.

— Прошу прощения, — пробормотал беглец. — Я только хотел спросить... можно мне домой?

Управляющий рассмеялся:

— Ну, конечно, Борис, можешь отправиться домой.

— Завтра?

Управляющий стал серьезен. Столько мольбы было в тоне беглеца, что улыбка быстро сошла с лица собеседника.

— Нет, Борис... Не сейчас. Когда кончится война.

— А когда? Когда она кончится?

— Одному богу известно. Мы, люди, не знаем этого.

— А раньше? Раньше нельзя уйти?

— Нет, Борис.

— Очень это далеко?

— Да.

— Много дней пути?

— Много дней.

— Я все-таки пойду, господин. Я сильный. Не устану.

— Борис, нельзя пойти. Ведь существует граница!

— Граница?—туго повторил он. Слово это было ему незнакомо.

Потом он ответил с изумительным упрямством:

— Я переплыву!

Управляющий снова улыбнулся; но ему все же жаль было беднягу. Он ответил ласково:

— Нет, Борис, ничего не выйдет. Граница—это значит чужая страна. Люди не пропустят тебя.

— Да я ведь не буду их убивать! Я бросил свою винтовку. Почему же они не пропустят меня к жене, если я их попрошу, Христа ради?

Управляющий становился все серьезнее. Горечь наполнила его сердце.

— Нет,—сказал он.—Они не пропустят тебя, Борис.

— Так что ж мне делать, господин? Я ведь не могу остаться здесь. Люди меня здесь не понимают, и я не понимаю их.

— Ты выучишься, Борис.

— Нет, господин. — Он низко опустил голову. — Я не могу учиться. Я могу только работать в поле, больше я ничего не умею. Что мне здесь делать? Я хочу домой. Покажите мне дорогу.

— Теперь не существует туда дороги, Борис.

— Да ведь они не могут запретить мне вернуться к жене, к детям! Я ведь не солдат больше.

— Они это могут, Борис.

— А царь?—спросил он неожиданно.

— Царя больше нет, Борис. Люди его свергли.

— Больше нет царя?—Он застыл на месте.—Значит мне не попасть домой?—устало сказал он.

— Теперь—нет. Придется подождать, Борис.

— Долго?

— Не знаю.

Все угрюмее становилось его лицо во мраке.

— Я так долго ждал. Я больше не могу ждать. Покажите дорогу. Я все-таки попробую.

— Дороги нет, Борис. Тебя схватят на границе. Мы найдем тебе работу.

— Люди здесь не понимают меня, и я не понимаю их,—повторил он упрямо.—Я не могу здесь жить. Помогите мне, господин.

— Я не в состоянии, Борис.

— Помогите, ради Христа, господин! Помогите мне, я не могу больше!

— Нет, Борис. Ни один человек теперь не может помочь другому.

Они безмолвно стояли друг против друга. Борис мля шапку в руках.

— Зачем же забрали меня из дому? Они сказали, что я должен защищать царя и отечество. Но Россия далеко, а царя... что они с ним сделали?

— Свергли.

— Свергли,—бессмысленно повторил он.—Что ж мне теперь делать, господин? Мне домой нужно. Дети плачут, зовут меня. Я не могу здесь жить! Помогите мне, господин, помогите!

— Не могу, Борис.

— И никто не может помочь?

— Теперь никто.

Русский опускал голову все ниже; вдруг, глухо промолвив:—Спасибо, господин,—повернулся и ушел.

Медленно шел он по дороге. Управляющий долго смотрел ему вслед, удивляясь, что тот пошел не к постоялому двору, а спускается к озеру. Он глубоко вздохнул и вернулся к своей работе в отель.

* * *

Случай захотел, чтобы тот же рыбак на следующее утро нашел голое тело утопленника. Русский заботливо сложил на берегу подаренные ему брюки, шапку и куртку и вернулся в озеро так же, как перед тем появился из него.

О происшествии составлен был протокол, и так как фамилии чужестранца не знали, то на могиле его поставили простой деревянный крест,—один из тех скромных памятников безвестной судьбы, которыми покрыта теперь Европа от края до края.

С Т Р А Х

**ПЕРЕВОД И. В. ХАРОДЧИНСКОЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ М. ЛОЗИНСКОГО**

Спускаясь по лестнице от своего возлюбленного, фрау Ирена почувствовала вдруг опять тот же бессмысленный страх. Перед глазами зажужжал черный круг, похолодевшие колени мучительно свело, и она должна была ухватиться за перила, чтобы не упасть. Она уже не в первый раз отваживалась на опасное посещение; это чувство внезапного ужаса было ей знакомо; каждый раз, когда она возвращалась домой, ею овладевал, как она ни сопротивлялась, такой же вот безотчетный приступ бессмысленного и нелепого страха. Итти на свидание было, несомненно, легче. Она останавливала извозчика на углу, быстро, не поднимая головы, добегала до ворот, торопливо взбиралась по лестнице, и этот первый страх, в котором пылало также и нетерпение, растворялся в горячих приветственных объятиях. Но потом, когда нужно было уходить, в ней ознобом поднималась непонятная жуть, смутно смешанная с ужасным сознанием вины и безумной болзнью, что каждый прохожий на улице прочтет на ее лице, откуда она идет, и ответит на ее смущение наглой усмешкой. Последние минуты его близости были уже отравлены растущей тревогой этого предчувствия; ей хотелось уйти, руки дрожали от нервной спешки, она рассеянно прислушивалась к его словам и торопливо уклонялась от запоздалых проявлений его страсти; прочь, ей хотелось только прочь, из его квартиры, из его дома, из этой обстановки, назад, в спокойный буржуазный мир. Затем—последние, тщето

успокаивающие слова, которых она от волнения почти не слышала, и секунда ожидания за прикрытием двери, не идет ли кто вверх или вниз по лестнице. Но за дверью уже подстерегал страх, торопясь в нее вцепиться, и так властно останавливал ей сердце, что она всякий раз, еле дыша, спускалась эти несколько ступеней.

Так она простояла минуту с закрытыми глазами и жадно вдыхала сумеречную прохладу лестницы. Вдруг где-то наверху хлопнула дверь; она испуганно встрепенулась и бросилась вниз, при чем ее руки безотчетно натягивали еще плотнее густую вуаль. Теперь ей угрожал только последний, самый страшный миг: ужас выйти из чужих ворот на улицу. Она нагнула голову, словно собиралась прыгнуть с разбега, и с внезапной решимостью кинулась к полуоткрытым воротам.

Там она столкнулась лицом к лицу с какой-то женщиной, которая, повидимому, намеревалась как раз войти.

— Pardon, — сказала она смущенно, стараясь пройти поскорее мимо.

Но женщина продолжала стоять в воротах и смотрела на нее злобно и в то же время с нескрываемой насмешкой.

— Наконец-то я вас поймала!—бесцеремонно крикнула она грубым голосом.—Ну, разумеется, приличная дама, так называемая! Ей мало одного мужа, и денег, и всего, ей надо еще отбивать у бедной девушки любимого человека...

— Ради бога... что с вами?.. Вы ошиблись...—пролепетала фрау Ирена и сделала пеловкую попытку пройти мимо, но женщина занимала всю дверь своей полной фигурой и кричала ей в лицо пронзительным голосом:

— Нет, я не ошиблась... я вас знаю... Вы идете от Эдуарда, моего друга... Наконец-то я вас поймала, теперь я понимаю, почему ему последнее время не до меня... Из-за вас, значит... Подлая!..

— Ради бога,—прервала фрау Ирена угасшим голосом,—не кричите так,—и невольно отступила в сени.

Женщина насмешливо посмотрела на нее. Этот трехпетный испуг, эта явная беспомощность были ей, видимо, приятны, потому что теперь она оглядывала свою жертву с надменной и иронически удовлетворенной улыбкой. Пошное самодовольство делало ее голос звучным и почти веселым.

— Вот какой у них вид, у этих замужних дам, у благородных аристократок, когда они воруют мужчин. Под вуалью, разумеется, под вуалью, чтобы можно было потом разыгрывать повсюду приличную женщину...

— Что... что вам нужно от меня? Я ведь вас совсем не знаю... Я должна идти...

— Ити... да, конечно... к господину супругу... в теплую квартиру, представляться благородной дамой, и чтобы раздавали горничные... А каково нам, когда мы умираем с голоду, этим благородные дамы не интересуются... У таких как мы, эти приличные женщины крадут последнее...

Ирена собралась с силами и, следуя смутному наитию, открыла портмонэ и схватила сколько попало в руку ассигнаций.

— Вот... вот, возьмите... но теперь пустите меня... Я никогда больше не приду... клянусь вам.

Женщина взяла деньги, бросив на нее злобный взгляд. При этом она пробормотала:

— Стерва...

Фрау Ирена вздрогнула от этого слова, но, видя, что та посторонилась, ринулась на улицу, без памяти, не дыша, как самоубийца, бросающийся с башни. Лица прохожих скользили ей навстречу, как кривые рожи, пока она бежала вперед, мучительно спеша, с уже померкшим взором, к стоявшему на углу автомобилю. Она опустилась на подушки,

как безжизненная масса, все в ней оцепенело и замерло, и когда шофер с удивлением спросил странного седока:— Куда же ехать?—она взглянула на него, ничего не понимая, пока, наконец, помутившийся разум не воспринял его слов.

— На Южный вокзал,—произнесла она торопливо, вдруг подумав, что эта особа может за ней погнаться.—Скорее, скорее, поезжайте быстро!

Только сидя в автомобиле, Ирена почувствовала, до какой степени ее взволновала эта встреча. Она ощущала свои свисавшие вдоль тела холодные и неподвижные, точно омертвевшие руки, и вдруг начала так дрожать, что ее всю трясло. К горлу подступало что-то горькое, она ощущала позыв к тошноте и вместе с тем глухую бессмысленную ярость, судорожно переворачивавшую у нее все в груди. Ей хотелось кричать или стучать кулаками, чтобы отделаться от ужаса воспоминания, засевшего в мозгу, как удильный крючок; это тупое лицо с язвительной усмешкой, это дыхание пошлости, дурно пахнущий беззубый рот, который злобно извергал ей в лицо гнусные слова, и поднятый красный кулак, которым та ей грозила. Ее мучило все сильнее, все выше подступало к горлу; к тому же быстро бегущий автомобиль бросал ее из стороны в сторону, и она уже хотела сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, как вдруг вспомнила, что у нее, быть-может, не хватит денег, чтобы с ним расплатиться, потому что она ведь отдала все ассигнации этой вымогательнице. Она тотчас же велела остановиться и, к новому изумлению шофера, сошла с автомобиля. Остававшихся денег, к счастью, хватило. Но она очутилась в незнакомом квартале, в толпе суетящихся людей, которые каждым словом, каждым своим взглядом причиняли ей физическую боль. Притом от страха у нее ослабели ноги, и она едва двигалась; но ей нужно

было домой, и, собрав всю свою энергию, она с нечеловеческим усилием потащила из улицы в улицу, точно шла по болотам или по колени в снегу. Наконец, она добралась до дому и с нервной торопливостью бросилась вверх по лестнице, но тотчас же умерила шаг, чтобы не выдавать своей тревоги.

Только когда горничная сняла с нее пальто, когда она услышала в соседней комнате голос сына, игравшего с младшей сестрой, когда окинула взглядом привычную обстановку, собственные вещи и домашний уют, к ней вернулся внешний покой, хотя подземная волна возбуждения все еще мучительно бушевала в напряженной груди. Она сняла вуаль, провела руками по лицу, силясь казаться спокойной, и вошла в столовую, где ее муж у накрытого к обеду стола читал газету.

— Поздно, поздно, милая Ирена,—приветствовал он ее нежным укором, встал и поцеловал ее в щеку. Это прикосновение невольно пробудило в ней тяжелое чувство стыда. Они сели за стол; и он спросил равнодушным голосом почти не отрываясь от газеты:—Где ты была так долго?

— Я была... у... у Амели... ей нужно было кое-что купить... и я пошла с нею,—прибавила она и тут же рассердилась на себя за то, что солгала так неудачно. Обычно она заранее готовила тщательно придуманную ложь, такую, которая могла выдержать любую проверку, а сегодня от страха она забыла, и ей пришлось прибегнуть к такой неловкой импровизации. А что, если муж,—мелькнуло у нее в голове,—как в той пьесе, что они видели на-днях в театре, протелефонирует и справится...

— Что с тобой?.. Ты в таком нервном состоянии... и почему ты не снимаешь шляпы?—спросил ее муж.

Она вздрогнула, почувствовала, что ее снова выдало ее замешательство, быстро встала, прошла к себе в комнату

снять шляпу и до тех пор смотрела в зеркало на свои беспокойные глаза, пока ей не показалось, что взгляд ее снова стал уверенным и твердым. Тогда она вернулась в столовую.

Горничная подала обед, и наступил вечер, похожий на все другие вечера, — быть-может, немного молчаливее и не такой оживленный, как всегда, со скудной, усталой, часто обрывающейся беседой. Мысли постоянно возвращались назад. И всякий раз в ужасе она содрогалась, вспоминая о встрече с этой страшной вымогательницей; тогда, чтобы почувствовать себя в безопасности, она поднимала голову и окидывала нежным взором все родное кругом, все эти вещи, наполнявшие квартиру воспоминаниями и значительностью, и к ней опять сходило легкое успокоение. А настенные часы, мирно ступая в тишине своими стальными шагами, незаметно вливали ей в душу какую-то уверенную, беззаботную размеренность.

* *
*

На следующий день, когда муж ушел в канцелярию, а дети отправились гулять, и она осталась, наконец, наедине с собой, эта ужасная встреча, воскрешенная при ясном утреннем свете, стала казаться ей далеко не такой страшной. Прежде всего фрау Ирена вспомнила, что на ней была очень густая вуаль, так что эта особа не могла ясно разглядеть ее лица и не узнает ее при встрече. Она принялась спокойно обдумывать меры предосторожности. Она ни за что больше не пойдет к своему возлюбленному на квартиру, — этим устраняется самая возможность подобного нападения. Остается лишь опасность случайной встречи с этой женщиной, но и это невероятно, потому что выследить ее, когда она ехала на автомобиле, та не могла. Имени и адреса она не знает, узнать ее как-нибудь иначе она

тоже не может, потому что слишком смутно видела ее лицо. Но фрау Ирена и на этот крайний случай вооружена. Уже свободная от тисков страха, она—таково ее решение—попросту будет держать себя совершенно спокойно, будет все отрицать, заявит холодно, что это какая-то ошибка, и, так как вряд ли можно будет доказать, иначе, чем на месте, что она действительно там была, она, в случае надобности, обвинит эту особу в вымогательстве. Недаром фрау Ирена—жена одного из известнейших адвокатов столицы; из разговоров мужа с коллегами она знает, что всякое вымогательство нужно пресекать, в самом начале и с полнейшим хладнокровием, ибо малейшая нерешительность, малейший намек на беспокойство со стороны преследуемого только усиливают противника.

Первой мерой защиты было краткое письмо возлюбленному, где она сообщала, что завтра в условленный час не может прийти и в ближайшие дни тоже не придет. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что в жизни своего возлюбленного она сменила такую низкую и недостойную предшественницу, и, неприязненно взвешивая слова, она злобно радовалась тому, с какой холодностью она свое увлечение как бы возвышает до степени прихоти.

С этим молодым человеком, пианистом, она случайно познакомилась на одном вечере и вскоре вслед за тем, собственно даже не желая того и почти не сознавая этого, стала его любовницей. Это не было влечением крови, ничто чувственное и едва ли что-нибудь духовное связывало ее с ним: она ему отдалась, не нуждаясь в нем и не стремясь к нему, по какой-то неспособности оказать сопротивление его воле и из чувства какого-то беспокойного любопытства. Ни ее вполне удовлетворенная супружеским счастьем кровь, ни столь частое у женщин ощущение, что гаснут ее духовные интересы, ничто не толкало ее завести

любовника, она была вполне счастлива рядом с состоятельным, духовно превосходящим ее мужем и двумя детьми, лениво и довольно ведя спокойное, буржуазное, безоблачное существование. Но бывает такая вялость атмосферы, которая пробуждает чувственность совершенно так же, как зной или гроза, бывает такой счастливый покой, который волнует больше, чем несчастье. Сытость возбуждает так же, как и голод: безопасность, благополучие ее жизни пробудили в ней жажду приключений.

И вот, когда в эти минуты удовлетворенности, которую сама она не в силах была обострить, этот молодой человек вошел в ее буржуазный мир, где мужчины обыкновенно почтительно превозносили в ней «красивую даму», с невинными шутками и безобидным кокетством, никогда не вождемая в ней женщины, она впервые с девичьих лет снова почувствовала глубокое волнение. В его облике ее привлекла, быть-может, лишь тень печали, лежавшая на его чуть-чуть слишком интересно придуманном лице. Ей, окруженной сытыми, буржуазно-настроенными людьми, в этой печали почудился какой-то высший мир, и она невольно перегнулась за ограду своих повседневных чувств, чтобы заглянуть в него. Compliment минутного восхищения, сказанный, быть-может, с большим огнем, чем это принято, заставил его поднять голову от рояля, и уже это первый взгляд стремился к ней. Она испугалась и в то же время ощутила всю отраду страха. Разговор, весь словно озаренный и согретый подземным пламенем, разжег пробудившееся в ней любопытство так сильно, что она не могла отказаться от новой встречи на публичном концерте. Затем они начали видаться часто и уже не случайно. Под влиянием самолюбивой мысли, что он, настоящий художник, ценит ее понимание и ее советы, как он неоднократно ее уверял, она спустя несколько недель легкомысленно

поверила ему, будто он хочет сыграть ей, ей одной, свое последнее произведение у себя дома,—обещание, быть-может, вначале наполовину искреннее, но кончившееся поцелуями и тем, что, неожиданно для себя, она отдалась ему. И первым ощущением был испуг перед этим внезапным переходом к чувственности; таинственный трепет, окружавший их отношения, был вдруг развеян, и сознание неумышленной вины перед мужем было только отчасти заглушено тщеславным чувством, что она впервые и, как ей казалось, по собственному желанию отвергла тот буржуазный мир, в котором жила. Сознание падения, мучившее ее в первые дни, превратилось под влиянием тщеславия в гордость. Но и эти полные таинственности волнения сохраняли свою напряженность лишь первое время. В глубине души она инстинктивно отворачивалась от этого человека и, главным образом, от того нового, от того необычного, что, в сущности, и увлекло ее любопытство. Страсть, опьянявшая ее, когда он играл, в минуты телесной близости тревожила ее; ей были не по душе эти неожиданные и властные объятия, чью своенравную необузданность она невольно сравнивала с робкой и после долгих лет все еще благоговейной страстью своего мужа. Но, раз изменив, она продолжала приходить к возлюбленному, не испытывая ни счастья, ни разочарования, из какого-то чувства обязанности и по косности привычки. Спустя несколько недель она отвела этому молодому человеку, своему возлюбленному, определенное место в жизни, уделила ему точно так же, как родителям мужа, один день в неделю, но ради этих новых отношений она не отказалась от старого уклада, а только прибавила нечто к своей жизни. Возлюбленный ничего не изменил в удобном механизме ее существования, он превратился в какой-то придаток размеренного счастья, подобно третьему ребенку или автомобилю, и вскоре

любовная связь приобрела в ее глазах банальность дозволенного наслаждения.

И вот, когда ей пришлось в первый раз оплатить эту связь истинной ценой, ценой опасности, она стала мелочно взвешивать, чего она, собственно, стоит. Фрау Ирена была избалована судьбой, изнежена родителями, а благоприятные материальные условия лишили ее почти всяких желаний, и первая же помеха показалась ей не по силам. Она не склонна была отказываться от душевной беззаботности и готова была, не размышляя, пожертвовать возлюбленным ради комфорта.

Ответ возлюбленного, испуганное, нервное, бессвязное письмо, принесенное посыльным в середине дня, письмо, в котором он растерянно молил, жаловался и обвинял, поколебало ее решение покончить с этой связью, потому что его страсть льстила ее самолюбию, а иступленное отчаяние приводило ее в восторг. Он в самых настойчивых выражениях просил ее хотя бы о кратком свидании, чтобы он мог, по крайней мере, выяснить, в чем его вина, если он чем-нибудь невольно оскорбил ее, и она увлеклась новой игрой: продолжать на него сердиться и, беспричинно избегая его, стать ему еще дороже. Она пригласила его прийти в одну кондитерскую, вдруг вспомнив, что однажды, будучи молодой девушкой, она назначила там свидание одному актеру, свидание, казавшееся ей теперь ребяческим своей почтительностью и беспечностью. Странно, — улыбалась она внутренне, — романтика, исчезнувшая из ее жизни за годы замужества, снова расцветает. И она была почти рада вчерашней встрече с этой грубой особой, когда она опять, после стольких лет, пережила такое сильное, подстегивающее чувство, что ее всегда легко успокаивающиеся нервы все еще дрожали подземным трепетом.

*
*

На этот раз она надела темное, не бросающееся в глаза платье и другую шляпу, чтобы при возможной встрече с той женщиной ввести ее в заблуждение. Она собиралась уже повязать вуаль, чтобы труднее было ее узнать, но вдруг заупрямилась и отложила вуаль в сторону. Неужели она, всеми уважаемая, почтенная дама, не решается выйти на улицу из страха перед какой-то особой, которой она совершенно не знает?

Мимолетный страх она ощутила только в первую секунду, выходя на улицу, нервный трепет, струящийся и холодный, как бывает, когда окунаешь ногу в воду, прежде чем броситься в волны. Но эта дрожь охватила ее лишь на секунду, вслед затем в ней закипела вдруг удивительная радость, ей было приятно, что она ступает так легко, сильно и эластично, напряженной, приподнятой походкой, какой она сама за собой не знала. Она почти жалела, что кондитерская так близко, какая-то сила ритмически влекла ее дальше, к магнетически притягивающей неизвестности. Но у нее было мало времени для свидания, а приятная уверенность в крови подсказывала ей, что возлюбленный уже ждет. Когда она вошла, он сидел в углу. Он вскочил взволнованно, и это было ей и приятно и, вместе с тем, тягостно. Ей пришлось просить его говорить тише, таким горячим водоворотом вопросов и упреков встретил он ее в своем смятении. Не объясняя ему, почему она не хочет больше приходить, она играла намеками, которые еще больше разжигали его своей неопределенностью. Она оставалась недостижимой для его желаний и не решалась даже обещать, чувствуя, как она его возбуждает таинственной и неожиданной уклончивостью и недоступностью... И когда, после получаса горячей беседы, она покинула его, не выказав и даже не посулив ни малейшей нежности, у нее внутри горело странное чувство, которое она испытывала

только девушкой. Точно в ней где-то глубоко теплился маленький щекоцущий огонек и только ждал ветра, чтобы вспыхнуть пламенем, которое охватило бы ее с головы до ног; на ходу она жадно ловила каждый взгляд, брошенный ей улицей, и неожиданный успех, который она читала в мужских глазах, пробудил в ней такое желание увидеть свое лицо, что она вдруг остановилась перед зеркалом цветочной витрины, чтобы в раме красных роз и блестящих росой фиалок взглянуть на свою красоту. С девичьих лет она не ощущала такой легкости, такой одушевленности всех чувств; даже первые дни замужества, даже объятия возлюбленного не зажигали таких искр в ее теле; и ей показалась нестерпимой мысль, что сейчас ей придется разменять на размеренные часы всю эту удивительную легкость, эту сладостную одержимость крови. Она устало пошла дальше. Перед домом она снова остановилась, чтобы еще раз вдохнуть полной грудью этот огненный воздух головокружение этого часа, чтобы до самой глубины сердца ощутить эту последнюю, уходящую волну свободы.

Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась.

— Что... что вам нужно опять от меня? — пролепетала она в смертельном испуге, увидев ненавистное лицо, и испугалась еще больше, услышав свои собственные роковые слова. Она ведь решила не узнавать этой женщины при встрече, отрицать все, встретить вымогательницу лицом к лицу... Теперь уже было поздно...

— Я уже полчаса поджидаю вас здесь, фрау Вагнер
Ирена содрогнулась, услышав свое имя. Эта женщина знает, где она живет. Теперь все погибло, она в ее власти, и спасения нет.

— Я жду уже полчаса, фрау Вагнер. — Она повторила свои слова угрожающим тоном, как упрек.

— Чего вы хотите?.. что вам нужно от меня?..

— Вы же знаете, фрау Вагнер. — Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. — Вы знаете отлично, почему я пришла.

— Я его больше ни разу не видела... оставьте меня теперь в покое... Я его никогда больше не увижу... никогда...

Женщина спокойно ждала, пока Ирена не умолкла от волнения. Затем сказала грубо, точно разговаривала со своей подчиненной:

— Не лгите! Я ведь шла за вами до кондитерской, — и, видя, как Ирена отшатнулась, прибавила с усмешкой: — У меня ведь нет занятий. Из заведения меня уволили, потому что работы мало, как они говорят, и времена плохие. Что ж, этим пользуетесь и идешь прогуляться... совсем как приличная дама.

Она говорила это с холодной злобой, кольнувшей Ирену в самое сердце. Перед неприкрытой грубостью этой пошлой женщины она чувствовала себя беззащитной, и все с большей силой овладевала ею страшная мысль, что она может снова раскричаться, или мимо может пройти муж, и тогда все погибло. Она порылась в муфте, вытащила серебряную сумочку и вынула из нее все, что могла захватить.

Но на этот раз, почувяв деньги, наглая рука не опустилась смиренно, как тогда, а замерла в воздухе, разжатая, как когти.

— Дайте-ка мне сумочку тоже, чтобы я не потеряла деньги, — произнес раскрытый насмешливо рот с тихим урчащим смехом.

Ирена посмотрела ей в глаза, но лишь секунду. Эта нахальная, пошлая насмешка была ей невыносима. Точно жгучая боль, по всему ее телу пробежало отвращение. Только бы уйти, уйти, только бы не видеть этого лица! Она отвернулась, быстро протянула драгоценную сумочку и побежала, гонимая ужасом, вверх по лестнице.

Мужа еще не было дома. Она бросилась на диван и лежала неподвижно, словно оглушенная молотом. И только заслышав голос мужа, она напрягла все силы и потащилась в другую комнату, двигаясь автоматически с омерзительными чувствами.

* *
*

Ужас засел теперь в ее доме и не выходил из комнат. В долгие одинокие часы, когда в ее памяти, волна за волной, вставали картины этой отвратительной встречи, она ясно поняла всю безнадежность своего положения. Эта особа знает—Ирена не понимала, как это могло произойти—ее имя, ее дом, и так как первые попытки удались блестяще, то теперь она, без сомнения, не остановится ни перед чем, чтобы использовать свои сведения для повторных вымогательств. Год за годом она будет тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который Ирена будет не в силах стряхнуть, даже при самом отчаянном напряжении, потому что, хотя она и располагает средствами и замужем за состоятельным человеком, все же, не посвятив в это дело мужа, ей неоткуда добыть настолько значительную сумму, чтобы раз навсегда освободиться от этой особы. И, кроме того,—она это знала из случайных рассказов мужа и по его процессам,—соглашения с такого рода бесчестными и падшими личностями и их обещания не имеют ровно никакой цены. Месяц—другой,—так она считала,—ей еще удастся задержать роковую развязку, но затем искусственное здание домашнего счастья должно рухнуть; и сознание, что в своем падении она увлечет также за собою и вымогательницу, мало ее утешало.

Развязка—это она чувствовала с ужасающей уверенностью—неизбежна, спасения нет. Но что же... что же будет? Она мучилась этим вопросом с утра до вечера.

Настанет день,—ее муж получит письмо; она представляла себе, как он войдет, бледный, с мрачным лицом, возьмет ее за руку, спросит... И тогда... что же будет тогда? Как он поступит? Здесь картина вдруг исчезала во мраке дикого и жестокого страха. Она не знала, что будет дальше, и все ее предположения летели в какую-то пропасть. Но из этих мрачных раздумий она вынесла жуткое сознание: как она, в сущности, мало знает своего мужа, как трудно ей предугадать его решение! Она вышла за него замуж по желанию родителей, но не противясь и чувствуя к нему большую симпатию, в которой не разочаровалась и впоследствии, прожила рядом с ним восемь тихих лет убаюкивающего счастья, имела от него детей, у них был общий дом, они провели вместе бесчисленное множество часов, и только теперь, задав себе вопрос, как он поступит, она поняла, насколько он для нее чужой и незнакомый человек. И она стала разбирать его жизнь по отдельным черточкам, которые помогли бы ей уяснить его характер. Ее боязнь стучалась робким молотком в каждое маленькое воспоминание, отыскивая вход в скрытые тайники его сердца.

Когда он сидел в кресле и читал книгу, резко освещенный электрическим светом, она вопрошала его лицо, потому что в словах он себя не проявлял. Она всматривалась в его облик, словно в чужой, стараясь угадать в знакомых и вместе с тем чуждых чертах лица его характер, которого ее равнодушие так и не раскрыло за восемь лет совместной жизни. Лоб у него был ясный и благородный, и казалось, что эту форму ему придало внутреннее духовное напряжение; но рот—строгий и непреклонный. Все было крепко в этом мужественном лице, энергично и сильно; с удивлением видя, что оно красиво, и с известного рода восхищением смотрела она на эту

сдержанную серьезность, на эту ясную его суровость. Но глаза, в которых, собственно, была скрыта вся тайна, устремленные на книгу, были недоступны ее наблюдению. И она вопросительно взирала на его профиль, как-будто эта изогнутая линия означала одно единственное слово, милость или осуждение, на этот чуждый профиль, который пугал ее своей жесткостью, но в решительных линиях которого она впервые видела странную красоту. И вдруг она заметила, что смотрит на него охотно, с удовольствием и гордостью. Он поднял голову. Она быстро отступила в темноту, чтобы жгучим вопросом своих глаз не зажечь в нем подозрения.

* *
*

Она не выходила из дому трое суток. И увидела с досадой, что домашние удивлены ее неожиданным домоседством, потому что обыкновенно не бывало, чтобы она проводила в комнатах несколько часов кряду, а тем более целые дни.

Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчик, который с неприятной выразительностью высказывал наивное изумление по поводу того, что мама так много сидит дома; а прислуга шепталась и обменивалась предположениями с гувернанткой. Напрасно старалась фрау Ирена объяснять свое необычное присутствие самыми разнообразными, иногда очень удачно придуманными причинами, но всякий раз, когда она хотела помочь в доме, она вносила только беспорядок и, вмешиваясь, пробуждала подозрение. Вдобавок, ей не удавалось вести себя так, чтобы ее постоянное присутствие не бросалось в глаза, она не умела держаться в стороне, не сидела на месте, за книгой или за работой; внутренний страх, который у нее, как всякое сильное чувство, превращался

в нервное возбуждение, непрерывно гнал ее из компаты в комнату; при каждом телефонном звонке, при каждом звонке на лестнице она вздрагивала, чувствовала, что ее жизненный покой растворяется и исчезает, и эта слабость выростала в ощущение разрушенной жизни. Эти три дня, проведенные в темнице комнат, казались ей длиннее, чем все восемь лет замужества.

Но на третий вечер она с мужем давно уже была приглашена в один дом, и отклонить теперь это приглашение, не приведя каких-нибудь серьезных причин, она не могла. И наконец, надо же было когда-нибудь сломать эту незримую решетку ужаса, окружившую ее жизнь, иначе ее ждала гибель. Ей нужно было видеть людей, отдохнуть хоть несколько часов от самой себя, от этого убийственного одиночества страха. И потом,—где бы она была в большей безопасности, как не в дружеском доме, где бы она была лучше ограждена от невидимого преследования, крадущегося по ее путям? Ей было страшно только одну секунду, одну короткую секунду, когда она выходила из дома, когда впервые после той встречи ступала на улицу, где ее могла поджидать эта женщина. Она невольно взяла мужа за руку, закрыла глаза и быстро прошла несколько шагов от тротуара к поджидавшему ее автомобилю. Но, когда, сидя рядом с мужем, она понеслась по пустынным ночным улицам, тяжелое чувство спало с ее души, и, подымаясь по ступеням чужого дома, она уже знала, что ей ничто не угрожает. Несколько часов она могла быть такой же, какой была столько лет: беззаботной, веселой и к тому же еще охваченной той сознательной радостью, какую испытывает человек, вышедший из тюремных стен на солнце. Здесь возвышался вал, защищавший ее от всякого преследования, сюда не могла проникнуть ненависть, здесь были только люди, которые ее любят, уважают и ценят, нарядные,

беспечные люди, озаренные красноватым пламенем легкомыслия, хоровод наслаждения, который, наконец, опять захватил и ее, потому что, когда она вошла, она почувствовала по тому, как на нее смотрели, что она красива, и это давно забытое сознание делало ее еще красивее.

Рядом манили звуки музыки, проникая глубоко под пылающую кожу. Начался танец, и, сама не зная как, она сразу очутилась среди толпы. Она танцевала так, как не танцевала никогда в жизни. Этот крутящийся вихрь разметал все, что в ней было тяжелого, ритм сросся с телом, наполняя его пламенным движением. Когда умолкли звуки, тишина делала ей больно, дрожащее тело пылало огнем беспокойства, и она бросалась снова в вихрь танца, как в прохладные, успокаивающие, уносящие волны. Раньше она была всегда средней танцоркой, слишком размеренной, слишком осмотрительной, с жесткими, осторожными движениями, но этот угар освобожденной радости сбросил с нее все телесные оковы. Стальной обруч стыдливости и благоразумия, всегда сковывавший самые дикие ее порывы, распался, и она чувствовала себя безудержно, беспредельно, блаженно растворенной. Она ощущала чьи-то руки, пальцы, касания и исчезновения, дыхание слов, щекочущий смех, музыку, дрожавшую у нее в крови, и все ее тело было напряжено, так напряжено, что платье ее жгло, и она была бы рада сорвать с себя все покровы, чтобы обнаженной еще глубже впитать в себя это упоение.

— Ирена, что с тобой?

Она обернулась, шатаясь, со смехом в глазах, еще вся пылая от объятий кавалера. Изумленный, неподвижный взгляд мужа холодно и жестко кольнул ее в сердце. Она испугалась. Или она держала себя слишком дико? Уж не выдала ли она себя в своем безумии?

— Что... что ты хочешь сказать, Фриц? — прошептала она, изумленная резким ударом его взгляда, который, казалось, проникал в нее все глубже, который она ощущала уже совсем внутри, у самого сердца. Она чуть не вскрикнула от испытующей решимости этих глаз.

— Как это странно,—пробормотал он, наконец.

В его голосе звучало мрачное удивление. Она не решилась спросить, что он хотел этим сказать. Но дрожь пробежала у нее по телу, когда он молча повернулся, и она увидела его плечи, широкие, жесткие, могучие, крепко спаянные с железным затылком. «Как у убийцы», пропеслась у нее в голове безумная и сразу же отогнанная мысль. Только теперь, точно она видела своего мужа в первый раз, она с ужасом поняла, что это сильный и опасный человек.

Снова заиграла музыка. К ней подошел какой-то господин, она машинально взяла его руку. Но все стало опять тяжелым, и светлая мелодия уже не уносила оцепеневшего тела. От сердца к ногам разливалась глухая тяжесть, каждый шаг причинял ей боль. И она попросила кавалера отпустить ее. Возвращаясь к своему месту, она невольно посмотрела, нет ли поблизости мужа. И вздрогнула. Он стоял совсем близко за ней, словно поджидал ее, и глаза ее снова встретили его стальной взгляд. Что ему нужно? Что он успел узнать? Она невольно оправив платье, как бы желая защитить от него обнаженную грудь. В его молчании была та же настойчивость, что и во взгляде.

— Поедем?—спросила она робко.

— Да.—Голос его звучал жестко и неприязненно. Он шел впереди. Она опять увидела широкий угрожающий затылок. Ей подали шубу, но она дрожала от холода

Они ехали молча. Она не решалась произнести ни слова. Она смутно чула новую опасность. Теперь ей грозили с обеих сторон.

* *
*

В эту ночь ей приснился тяжелый сон. Звучала какая-то незнакомая музыка; высокий светлый зал; она вошла, двигаясь среди множества людей и красок; какой-то молодой человек, как-будто знакомый ей, но которого она не совсем узнавала, подошел к ней, взял ее за руку, и она начала с ним танцевать. Ей было легко и хорошо, волна музыки подхватила ее, она не чувствовала пола под ногами, и так они танцевали по бесчисленным залам, где высоко в золотых люстрах, блистая как звезды, горели маленькие огни, а множество зеркал по стенам возвращало ей ее улыбку и опять уносило дальше в бесконечных отражениях. Все более жарким становился танец, все более жгучей—музыка. Она чувствовала, как юноша прижимается к ней все ближе, как его пальцы впиваются в ее обнаженную руку, так что она застонала от мучительного наслаждения, и когда его взор погрузился в ее взор, ей показалось, что она его узнает. Ей показалось, что это тот актер, которого она восторженно любила, когда была маленькой девочкой. Она уже хотела радостно произнести его имя, но он задушил ее тихий возглас жгучим поцелуем. И так, со слившимися устами, они летели по залам, точно уносимые блаженным ветром, единое пылающее тело. Стены струились мимо, она больше не ощущала вознесенного вверх потолка, время казалось ей несказанно легким, а тело раскованным. Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Она остановилась, музыка умолкла, огни погасли, черные стены надвинулись на нее, и кавалер исчез. «Отдай мне его, воровка!», кричала страшная женщина, ибо это была она,

таким голосом, что гудели стены, и ледяными пальцами схватила ее за руку. Фрау Ирена сопротивлялась и слышала, что и она тоже кричит пронзительным, безумным криком отчаяния; между ними началась борьба, но женщина была сильнее, она сорвала с нее жемчужное ожерелье и при этом наполовину оборвала платье, так что грудь и руки выступили обнаженными из-под свисающих лохмотьев. Вдруг снова появились люди, они сбегались из всех зал со все возрастающим шумом и взирали, смеясь, на полуобнаженную Ирену и на кричавшую пронзительным голосом женщину: «Она украла его у меня, развратница, девка!» Ирена не знала, куда спрятаться, куда смотреть, потому что люди все приближались; любопытные, фыркающие рожи хватали ее наготу; и вот, растерянным взглядом ища спасения, она вдруг увидела в черной раме двери своего мужа, который стоял неподвижно, заложив правую руку за спину. Она вскрикнула и бросилась бежать, бежала через множество зал, следом за ней неслась жадная толпа, она чувствовала, как ее платье спадает все ниже, она с трудом придерживала его. Вдруг перед нею распахнулась дверь. Она жадно бросилась вниз по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже поджидала эта пошлая женщина в шерстяном платье, с хищными пальцами. Ирена отскочила в сторону и побежала прочь, как сумасшедшая, но та бросилась за нею, и так они мчались во тьме по длинным молчаливым улицам, а фонари, хихикая, нагибались к ним. Она слышала у себя за спиной стук деревянных башмаков, но каждый раз, когда она добегала до угла улицы, снова появлялась эта женщина, на следующем углу опять, за каждым домом, слева, справа,—она подстерегала ее всюду. Она была везде, неисчислимая, всегда опережающая, она обгоняла Ирену, хватала ее, и та уже чувствовала, что у нее подкашиваются

ноги. Но вот, наконец, и дом, она бросилась вперед, но когда она рванула дверь, то там стоял муж, с ножом в руке, и смотрел на нее пронизывающим взглядом. «Где ты была?», спросил он глухо. «Нигде», услышала она свой ответ, а рядом громкий смех. «Я видела, я видела!», кричала, оскалив зубы, женщина, очутившаяся вдруг опять рядом и хохотавшая, как сумасшедшая. Тогда муж поднял нож. «Спасите!—закричала фрау Ирена,—спасите!»

Она вскочила; и ее испуганный взгляд столкнулся со взглядом мужа. Что... что это такое? Она в своей комнате, лампочка горит бледным светом, она дома, у себя в кровати, это был только сон. Но почему же муж сидит на краю постели и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег огонь, почему он сидит такой серьезный, такой неподвижный? Ее охватил ужас. Она невольно взглянула на его руку; нет, у него не было ножа. Медленно исчезало сновидение с зарпницами своих образов. Ей, должно быть, снился сон, она закричала во сне и разбудила мужа. Но почему же он так серьезно, так пристально, так неумолимо серьезно смотрит на нее?

Она попыталась улыбнуться.

— Что... что такое? Почему ты так смотришь на меня? Мне, кажется, приснился дурной сон.

— Да, ты громко кричала. Я услышал из другой комнаты.

«Что я кричала, что я выдала,—содрогалась она,—что он мог узнать?» Она не решалась взглянуть ему в глаза. А он смотрел на нее все так же серьезно, все так же удивительно спокойно.

— Что с тобою, Ирена? В тебе что-то происходит, ты так изменилась за последние дни, ты точно в лихорадке, нервничаешь, такая рассеянная и зовешь во сне на помощь.

Она опять попыталась улыбнуться.

— Нет,— настаивал он,— ты не должна ничего от меня скрывать. Или у тебя какое-нибудь горе, что-нибудь тебя мучит? В доме все заметили, как ты изменилась. Ты должна быть со мной доверчива. Ирена.

Он незаметно пододвинулся к ней, она чувствовала, как его пальцы гладят и ласкают ее голую руку, а в глазах у него был странный блеск. Ей хотелось броситься к нему на сильную грудь, прижаться к нему, признаться во всем и не отпускать его, пока он не простит, броситься сейчас, в эту самую минуту, когда он видел, как она страдает.

Но лампочка горела бледным светом, освещая ее лицо, и ей стало стыдно. Она боялась слов.

— Не тревожься, Фриц,— силилась она улыбнуться, а тело ее дрожало до пальцев голых ног.— Я просто немного разнервничалась. Все это пройдет.

Он быстро отдернул руку, которой было обнял ее. Она вздрогнула, увидев его бледное при стеклянном свете лицо с тяжелой тенью мрачных мыслей на лбу. Он медленно встал.

— Не знаю, все эти дни мне казалось, что ты хочешь мне что-то сказать. Что-то такое, что касается только тебя и меня. Мы сейчас одни, Ирена.

Она лежала неподвижно, точно загипнотизированная этим серьезным, туманным взглядом. Она чувствовала, что сейчас все может стать так хорошо, стоит ей сказать одно слово, одно маленькое слово «прости», и он не станет спрашивать, за что. Но почему горит этот свет, громкий, наглый, прислушивающийся свет? В темноте она бы сказала, она это чувствовала. А свет разбивал ее силы.

— Значит, тебе в самом деле нечего мне сказать, как есть нечего?

Какое ужасное искушение, какой у него мягкий голос! Так он не говорил с нею никогда. Но этот свет, эта лампочка, этот желтый жадный свет!

Она сделала над собой усилие.

— Что это тебе пришло в голову?—рассмеялась она, и сама испугалась своего неестественного голоса. — Или, если я плохо сплю, так, значит, у меня должны быть секреты? Может быть, даже какой-нибудь роман?

Она сама испугалась, как лживо, как лицемерно прозвучали ее слова, она до мозга костей ужаснулась сама себе и невольно отвела взгляд.

— Ну, спи спокойно.

Он произнес это коротко, отрывисто. Совсем другим голосом. Как угрозу или как злую, опасную насмешку.

Затем он погасил свет. Она видела, как его белая тень исчезла в дверях, бесшумно, как бледное, ночное привидение, и, когда дверь закрылась за ним, ей показалось, будто опустилась крышка гроба. Ей казалось, что весь мир мертв и пуст, только в оцепеневшем теле ее собственное сердце громко и неистово стучало о грудь, и больно, больно было от каждого удара.

* *
*

На следующий день, когда они сидели вместе за завтраком,—дети только-что поссорились, и их с трудом удалось успокоить,—горничная принесла письмо.—Барыне, и ждут ответа.—Ирена посмотрела с удивлением на незнакомый почерк, поспешно вскрыла конверт, но, прочитав первую строчку, вдруг побледнела. Она вскочила и испугалась еще больше, поняв по изумлению окружающих, что своей необдуманной стремительностью она выдает себя.

Письмо было краткое. Три строчки: «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно сто крон». Ни подписи, ни

числа, лвно исковерканный почерк, и только этот жутко-повелительный приказ. Фрау Ирена побежала к себе в комнату за деньгами, но ключ от ящика оказался не на месте, и она начала лихорадочно рыться повсюду, пока, наконец, не нашла его. Дрожащими руками она вложила ассигнации в конверт и передала его сама ожидавшему у двери посыльному. Она действовала бессознательно, как бы под гипнозом, не допуская мысли об ослушании. Затем—она отсутствовала не больше двух минут—она вернулась в столовую.

Все молчали. Она с робкой неловкостью села и только собралась привести какую-нибудь наспех придуманную отговорку, как вдруг—и рука ее так задрожала, что ей пришлось поставить назад поднятый стакан—она увидела с невыразимым ужасом, что, ослепленная волнением, она оставила письмо лежать открытым рядом со своей тарелкой. Она украдкой скомкала записку, но в тот миг, когда она ее прятала, она встретила, подняв глаза, твердый взгляд мужа, сверлящий, строгий, горестный взгляд, какого раньше она никогда у него не видала. Только теперь, эти последние дни, он наносил ей взглядом вот такие внезапные удары недоверия, от которых она вся содрогалась, и которых она не умела отражать. Таким же точно взглядом он ударил по ней, когда она танцевала; это тот же взгляд сегодня ночью сверкнул, как нож, над ее сном. И пока она подыскивала слова, ей припомнился давно забытый случай. Муж рассказывал ей однажды, что он выступал защитником в камере одного судебного следователя, который имел обыкновение прибегать к такому приему: во время допроса он перелистывал бумаги с таким видом, будто он близорук, а при решающем вопросе молниеносно скидывал взгляд и поражал им, как кинжалом, внезапный испуг обвиняемого: тот терялся от этой яркой вспышки

сосредоточенного внимания и бессильно ронял бережно несомую ложь. Или он теперь и сам упражняется в этом опасном искусстве, а она—его жертва? Ей стало жутко, тем более, что она знала, насколько ее мужу психологическая сторона его профессии дороже чисто-юридической. Распознавать, вскрывать, исследовать преступление—занимало его так же, как других азартная игра или эротика, и в такие дни психологической разведки он точно горел внутренним огнем. Воспаленная нервность, заставлявшая его нередко говорить во сне, вспоминая забытое днем, превращалась во вне в стальную непроницаемость, он ел и пил мало, только беспрерывно курил и словно берег слова для часа суда. В суде она слышала его только раз, и больше не хотела, настолько ее испугали мрачная страстность, почти злобный огонь его речи и хмурое выражение лица, которое она теперь опять улавливала в его неподвижном взгляде под грозно сдвинутыми бровями.

Все эти затерянные воспоминания столпились разом и мешали словам, которые все силились слететь с ее губ. Она молчала, и чем яснее она чувствовала, как опасно такое молчание, тем сильнее становилось ее смущение. К счастью, завтрак скоро кончился, дети вскочили и бросились в соседнюю комнату с веселым, звонким криком, который гувернантка тщетно старалась унять. Муж тоже встал и тяжелым шагом, не оглядываясь, вышел из комнаты.

Оставшись одна, она вынула снова это роковое письмо. Она еще раз пробежала строки: «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно сто крон». Яростно разорвала она его в клочки, уже скомкала их, чтобы бросить в корзину, но вдруг раздумала, остановилась, нагнулась к печке и кинула бумагу в зашумевший огонь. Белое пламя, со стремительною жадностью пожравшее угрозу, успокоило ее.

В этот миг она услышала за дверью шаги возвращавшегося мужа. Она торопливо вскочила, и лицо ее было красно от дыхания огня и оттого, что ее поймали врасплох. Дверцы печки были еще предательски открыты, она сделала неловкую попытку прикрыть их своим телом. Он подошел к столу, зажег спичку, чтобы закурить сигару, и, когда огонь близко озарил его лицо, ей показалось, что ноздри у него дрожат, а это означало, что он сердится. Он спокойно взглянул на нее:

— Я хочу только обратить твое внимание на то, что ты не обязана показывать мне свои письма. Если ты хочешь от меня что-нибудь скрыть, ты имеешь на это полное право.

Она молчала и не решалась на него взглянуть. Он подождал немного, затем шумно выпустил дым сигары, как бы из самой глубины груди, и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

* *
*

Ей не хотелось ни о чем думать, она старалась жить, оглушать себя, наполнять сердце пустыми, бессмысленными занятиями. Дома она была не в силах сидеть, она чувствовала, что ей надо на улицу, в толпу, иначе она сойдет с ума от ужаса. Она надеялась, что этой сотней крон она откупила у вымогательницы, по крайней мере, несколько дней свободы, и она решила пройтись, тем более, что ей нужно было кое-что купить, а главное—надо было скрывать от домашних необычность своего поведения. У нее уже выработалась определенная манера ходить по улице. Из ворот она бросалась, как с мостков, с закрытыми глазами, в водоворот улицы. Почувствовав под ногами мостовую, а вокруг теплую людскую волну, она с нервной поспешностью, насколько может быстро ходить дама, не

рискуя обратить на себя внимание, слепо шла вперед, потупив глаза, боясь снова встретить тот опасный взгляд. Если за ней следят, то она, по крайней мере, не хочет ничего об этом знать. И все же она чувствовала, что думает только об одном, и вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый звук, каждый шаг за ее спиной, каждая промелькнувшая тень мучительно действовали ей на нервы. Она дышала свободно только в экипаже или в чужом доме.

Какой-то господин поклонился ей. Она подняла глаза и узнала старого друга ее родителей, приветливого, болтливого старичка, которого она обычно избегала, потому что у него была привычка часами надоедать людям рассказами о своих—быть-может, только воображаемых—болезнях. Но теперь ей было жаль, что она только ответила на его поклон и не попыталась пойти с ним вместе, потому что спутник был бы для нее защитой на случай неожиданной встречи с вымогательницей. Она не знала, как быть, и хотела уже вернуться назад, но вдруг ей показалось, что кто-то ее догоняет, и инстинктивно, не задумываясь, она бросилась вперед. Но с мучительной отчетливостью, обостренной страхом, она чувствовала, что ее настигают, и бежала все быстрее, хоть и понимала, что все равно ей от погони не уйти. Ее плечи дрожали, предчувствуя прикосновение руки, которая—шаги все приближались—сейчас коснется ее, и чем больше она старалась ускорить шаг, тем тяжелее становились ее колени. Вот ее уже почти настигли, и вдруг какой-то голос сзади произнес горячо и вместе с тем тихо: «Ирена». Она не сразу его узнала, но это был не тот голос, которого она боялась, не страшный вестник беды. Она облегченно вздохнула и обернулась: это был ее возлюбленный. Она остановилась так неожиданно, что он чуть не налетел на нее. Его

бледное, расстроенное лицо выражало крайнее волнение, которое под ее растерянным взглядом перешло в смущение. Он нерешительно поднял руку для приветствия и опустил ее снова, увидав, что она ему руки не подает. Несколько секунд она молча смотрела на него, настолько она не ожидала его встретить. В эти дни страха именно о нем она совсем забыла. И теперь, при виде его бледного, вопрошающего лица, с тем выражением беспомощной пустоты, которое всегда сопутствует неуверенности, в ней вдруг поднялась горячая волна злости. Ее губы, дрожа, подыскивали слово, и ее волнение было так явно, что он в испуге прошептал:

— Ирена, что с тобою?—и, заметив ее нетерпеливый взгляд, прибавил робко:—Что я тебе сделал?

Она смотрела на него с плохо скрываемой ненавистью:

— Что вы мне сделали?—рассмеялась она иронически.— Ничего! Ровно ничего! Только одно хорошее! Только приятное!

Взгляд его погас, а раскрытый от изумления рот делал его совсем глуповатым и смешным.

— Но, Ирена... Ирена!

— Не шумите,—прикрикнула она на него.—И не разыгрывайте передо мною комедии. Она, наверное, опять подкарауливает меня где-нибудь поблизости, ваша благородная подружка, и опять набросится на меня...

— Кто... кто набросится?

Ирена охотно ударила бы его кулаком по лицу, по этому глупо неподвижному, перекошенному лицу. Она уже чувствовала, как ее рука сжимает зонтик. Никогда еще она так не презирала, не ненавидела человека.

— Но, Ирена... Ирена...—шептал он все с большим смущением.—Чем я тебя обидел?... Вдруг ты исчезаешь... Я жду тебя днем и ночью... Сегодня я весь день простоял

перед твоим домом, ждал тебя, хотел поговорить хоть одну минуту.

— Ты ждал... так... и ты тоже...

Она чувствовала, что не владеет собой от ярости. Как бы ей хотелось ударить его по лицу! Но она сдержала себя, взглянула на него еще раз со жгучей ненавистью, точно соображала, не выплюнуть ли ему в лицо одним ругательством всю накопившуюся в ней злобу, потом вдруг повернулась и кинулась, без оглядки, в водоворот толпы. Он стоял, все еще простирая умоляющую руку, беспомощный и расстроенный, пока уличное движение не подхватило его и не унесло, как стремнина упавший листок, который борется, мечась и кружась, и, наконец, безвольно отдается течению.

* * *

Но чья-то рука заботилась о том, чтобы она не предавалась радостным надеждам. Уже на следующий день пришла опять записка, опять удар кнутом, подстегнувший ее усталый страх. На этот раз требовалось двести крон, которые она и отдала беспрекословно. Это наглющее вымогательство приводило ее в ужас: оно и материально было ей не по силам, потому что, хоть она и происходила из состоятельной семьи, она все же не имела возможности добывать такие крупные суммы, не рискуя обратить на себя внимание окружающих. И потом—ведь это был не выход. Она знала, что завтра потребуют четыреста крон, а потом тысячу и тем больше, чем больше она будет давать, и, наконец, когда ее средства будут исчерпаны, анонимное письмо, катастрофа. Она покупала только время только маленькую отсрочку, два—три дня передышки, быть может, неделю, но то были ужасные дни, преисполненные муки и напужения. Она не могла читать, ничего не

могла делать, демонически гонимая внутренним страхом. Она чувствовала себя больной. Иногда у нее бывало такое сердцебиение, что она не могла стоять; тревожная тяжесть наполняла все тело терпким соком почти болезненной усталости, которая все же не переходила в сон. А она, с трепещущими нервами, должна была улыбаться, казаться веселой, и никто не подозревал, какого бесконечного напряжения стоит ей это деланное веселье, какие героические силы она расточает на эту ежедневную, в конце-концов бесполезную, борьбу с собою.

Ей казалось, что только один человек из всех окружающих догадывается о том ужасном, что в ней происходит, и это потому, что он следит за нею. Она чувствовала,—и это заставляло ее быть сугубо осторожной,—что он думает о ней беспрестанно, точно так же, как и она о нем. Они наблюдали друг за другом днем и ночью, словно каждый старался разгадать тайну другого и скрыть свою собственную. Муж ее тоже изменился за последнее время. Грозная инквизиторская строгость первых дней сменилась какой-то особенной добротой и озабоченностью, которая невольно напоминала ей то время, когда она была невестой. Он обращался с нею, как с больной, приводил ее в смущение своей заботливостью. Ее охватывал жуткий трепет, когда он иной раз словно подсказывал ей слово избавления, когда он старался облегчить ей признание; она понимала его намерение и была рада, была благодарна ему за доброту. Но она чувствовала, сознавала также, что вместе с этим доверием в ней растет и чувство стыда перед ним и строже замыкает ей уста, чем недавнее недоверие.

Однажды он заговорил с нею совершенно ясно, глядя ей прямо в глаза. Возвратившись как-то домой, она услышала еще из прихожей громкие голоса, голос мужа, резкий

и энергичный, раздраженное тараторение гувернантки, всхлипывание и плач. В первую минуту она испугалась. Она всегда вздрагивала, когда слышала громкие голоса или шум в доме. На все необычное она откликалась страхом, что пришло письмо, что тайна раскрыта. Всякий раз, отворяя дверь, она окидывала лица вопрошающим взглядом, стараясь угадать, не случилось ли чего-нибудь в ее отсутствие, не разразилась ли катастрофа, пока ее не было. На этот раз оказалась просто детская ссора, как она узнала, успокаиваясь,—маленький импровизированный суд. Несколько дней назад тетя принесла мальчику игрушку, пеструю лошадку, и младшая сестра, получившая не такой интересный подарок, завидовала ему. Она пыталась овладеть лошадкой и делала это с такой жадностью, что мальчик вообще запретил ей трогать игрушку. Девочка сперва раскричалась от злости, а потом замкнулась в глухое, упорное молчание. Но на следующее утро лошадка вдруг исчезла бесследно, и все старания мальчика отыскать ее не привели ни к чему. В конце-концов пропавшая игрушка нашлась случайно в печке, вся искалеченная: деревянные части были сломаны, пестрая шерсть сорвана, внутренности выпотрошены. Подозрение пало, разумеется, на девочку; мальчик с плачем бросился к отцу, обвиняя злодейку; и вот началось разбирательство.

Маленький процесс длился недолго. Девочка сперва отпиралась,— правда, робко опустив глаза и с предательской дрожью в голосе. Гувернантка показывала против нее, она слышала, как девочка грозилась со злости выбросить лошадку за окно, и та тщетно пыталась это отрицать. Последовало смятение, плач и отчаяние. Ирена смотрела только на мужа; ей казалось, что он судит не ребенка, а решает ее собственную участь, потому что, может быть, завтра ей тоже суждено стоять перед ним вот так, дрожа, с преры-

вающимся голосом. Муж сохранял строгость, пока девочка продолжала лгать, затем слово за слово сломил ее сопротивление, ни разу не выйдя из себя. Но когда отрицание вины сменилось мрачным упорством, он начал ласково ее уговаривать, доказывая чуть ли не внутреннюю неизбежность содеянного, и как бы извинял совершенный ею в порыве злости отвратительный поступок тем, что она при этом не подумала, насколько это огорчит брата. И он так тепло и мягко объяснял начавшей колебаться девочке, что ее поступок вполне понятен, хоть и заслуживает осуждения, что та, наконец, разразилась слезами и принялась неистово рыдать. И, утопая в слезах, она в конце-концов пролепетала признание.

Ирена бросилась обнимать плачущего ребенка, но девочка сердито оттолкнула ее. Муж тоже не позволил ей выражать преждевременное сочувствие, ибо он не хотел, чтобы проступок остался безнаказанным, и присудил небольшое, но для ребенка чувствительное наказание, заключавшееся в том, что на следующий день девочка не пойдет на праздник, которому она уже несколько недель заранее радовалась. Девочка выслушала приговор, рыдая; мальчик начал громко ликовать, но за такое неуместное и неприязненное издевательство был тоже наказан, и за его злорадность ему было также запрещено идти на детский праздник. Опечаленные и утешаясь только тем, что наказаны они оба, дети, наконец, ушли, и Ирена осталась одна с мужем.

Она вдруг почувствовала, что ей представился случай заговорить о собственной вине, уже не просто намеками, а под видом беседы о вине ребенка и об его признании. Если он отнесется благосклонно к ее ходатайству, то это будет для нее знаком, и тогда она, быть-может, решится заговорить о себе самой.

— Скажи, Фриц,—начала она,—ты в самом деле не хочешь пускать завтра детей? Это их очень огорчит, особенно малютку. То, что она сделала, совсем не так уж гадко. Почему ты так строго ее наказываешь? Неужели тебе совсем не жаль ребенка?

Он посмотрел на нее.

— Ты спрашиваешь, жаль ли мне ее. На это я отвечу: сегодня мне ее больше не жаль. Теперь, когда она наказана, ей легко, хоть она и огорчена. Несчастной чувствовала она себя вчера, когда бедная лошадка валялась сломанная в печке, все в доме ее искали, и она все время боялась, что ее вот-вот найдут, не могут не найти. Страх хуже наказания, потому что наказание—всегда нечто определенное, и, будь оно тяжкое или легкое, оно все же лучше, чем нестерпимая неопределенность, чем жуткая бесконечность ожидания. Как только она узнала, в чем заключается наказание, ей стало легко. Слезы не должны вводить тебя в заблуждение: теперь они просто вышли наружу, а раньше были внутри. А пока они внутри, они мучительнее.

Она подняла голову. Ей казалось, что каждым своим словом он метит в нее. Но он как-будто даже не обращал на нее внимания.

— Это действительно так, ты можешь мне верить, я это знаю из судебной практики. Обвиняемые страдают, главным образом, от того, что они вынуждены скрываться, от страха, что преступление будет раскрыто, от жуткой необходимости защищать неправду от тысячи мелких, скрытых нападений. Отвратительно видеть, как обвиняемый корчится и извивается, когда слово «да» приходится точно щипцами вырывать из сопротивляющегося тела. Иногда это слово уже подступает к гортани, неудержимая сила его выталкивает, человек им давится, вот-вот он его произне-

сет; но вдруг им овладевает какая-то злая воля, непонятное чувство упорства и страха, и он его снова проглатывает. И борьба начинается сызнова. Судья страдает при этом иногда больше, чем сама жертва. К тому же обвиняемый всегда считает его своим врагом, а в действительности он ему помогает. И я, как адвокат, как защитник, должен был бы предупреждать клиентов, чтобы они не сознавались, должен был бы укреплять их во лжи, но я часто не решаюсь на это, потому что для них мучительнее отрицать, чем сознаться и понести наказание. Я, между прочим, до сих пор не могу понять, как можно совершить проступок, сознавая его опасные последствия, и потом не иметь мужества признаться в нем. Я нахожу, что такой мелкий страх перед словом хуже всякого преступления.

— Ты думаешь... что людям мешает всегда... всегда только чувство страха? А разве... разве не может быть чувства стыда... Стыдно высказаться, раздеться на глазах у всех.

Он посмотрел на нее с удивлением, он не привык к тому, чтобы она возражала. Но эти слова произвели на него впечатление.

— Ты говоришь, стыдно... это... это... ведь тоже только страх... но этот страх лучше... страх не перед наказанием, а... да, я понимаю...

Он встал, странно взволнованный, и зашагал назад и вперед. Эта мысль, казалось, затронула в нем какое-то чувство, которое встрепенулось и забушевало внутри. Вдруг он остановился.

— Я допускаю... Стыдно перед людьми, перед людьми... перед толпой, пожирающей в газете чужую судьбу, как бутерброд... Но ведь можно признаться тем, кто близок...

— А может быть,—она должна была отвернуться, так пристально он на нее смотрел, и она чувствовала, что

голос у нее дрожит,—может быть, чувство стыда сильнее всего... в отношении тех, кто... для нас всех ближе.

Он вдруг остановился, скованный какой-то внутренней силой.

— Ты, значит, думаешь, ты думаешь...—его голос изменился вдруг, зазвучал мягко и глухо,—ты думаешь... что Елене... было бы легче признаться в своей вине кому-нибудь другому... например, гувернантке... что она...

— Я в этом убеждена... она оказала именно тебе такое сопротивление... потому... потому что твое мнение для нее важнее всего... потому что она... любит тебя больше всех...

Он снова остановился.

— Ты... ты, может быть, права... и даже наверно... как странно... как-раз об этом я никогда не думал. Но ты права, я не хочу, чтобы ты думала, будто я не умею прощать... мне бы не хотелось чтобы именно ты, Ирена, могла бы так думать...

Он посмотрел на нее, и она почувствовала, что краснеет под его взглядом. Нарочно он так говорит, или это случай, коварный, опасный случай? Она все еще не могла решиться.

— Приговор кассирован, — он вдруг повеселел,—Елена свободна, и я пойду и сообщу ей сам об этом. Ты теперь довольна мною? Или ты еще чего-нибудь хочешь?.. Ты... ты видишь... ты видишь... сегодня я настроен великодушно... быть-может потому, что во-время сознал свою вину. Это всегда приносит облегчение, Ирена, всегда...

Ей казалось, что она понимает смысл этого ударения. Она невольно подошла к нему ближе, она готова была уже заговорить, он тоже подошел к ней, точно хотел поскорее взять у нее из рук то, что ее угнетало. Но в этот миг она встретила его взгляд, в нем горело нетерпение, жгучее нетерпение услышать признание, ухватить частицу ее

существа, и вдруг в ее душе все обрушилось. Ее рука утомленно поникла, она отвернулась. Она почувствовала, что все напрасно, что она никогда не сможет произнести то единственное освобождающее слово, что горит у нее в душе и пожирает ее покой. Предостережение гремело, как близкий гром, но она знала, что ей некуда бежать. И втайне она уже желала того, чего до сих пор страшилась: освободительной молнии, развязки.

* * *

Казалось, ее желание осуществится скорее, чем она думала. Борьба продолжалась уже две недели, и Ирена чувствовала себя обессиленной. Уже четыре дня эта особа не показывалась, и страх так глубоко проник в ее тело, так слился воедино с ее кровью, что она каждый раз, когда раздавался звонок, вскакивала, чтобы во-время взять самой письмо от вымогательницы. В этом ожидании было нетерпение, почти томление, потому что за эти деньги она покупала каждый раз хотя бы один только вечер успокоения, несколько тихих часов с детьми, прогулку.

Снова раздался звонок, она выбежала из комнаты и бросилась к двери. Она отворила и первое мгновение удивленно смотрела на незнакомую даму, но затем в ужасе отшатнулась, узнав ненавистное лицо вымогательницы в новом наряде и в элегантной шляпе.

— Ах, это вы сами, фрау Вагнер, очень приятно! Мне нужно переговорить с вами по важному делу.

И, не дожидаясь ответа перепуганной женщины, опирающейся дрожащей рукой на ручку двери, она вошла и поставила зонтик, ярко-красный зонтик, очевидно—плод ее разбойничьих набегов. Она двигалась с необыкновенной уверенностью, как-будто находилась в своей собственной квартире и, оглядывая с удовольствием, как бы с чувством

успокоения, красивую обстановку, направилась, не дожидаясь приглашения, к полуоткрытой двери в гостиную.

— Сюда, не правда ли?—спросила она со сдержанной усмешкой, и когда испуганная женщина, все еще не в состоянии произнести ни слова, попыталась удержать ее, она прибавила успокаивающе:—Если это вам неприятно, мы можем обсудить вопрос быстро.

Фрау Ирена последовала за нею, не возражая. Она была оглушена мыслью, что эта вымогательница находится в ее собственной квартире, этой дерзостью, которая превосходила все самые ужасные ее предположения. Ей казалось, что все это сон.

— У вас здесь красиво, очень красиво,—любовалась прищелица, опускаясь в кресло.—Ах, как удобно так сидеть! И как много картин! Только здесь начинаешь понимать, как бедно мы живем. У вас красиво, очень красиво, фрау Вагнер.

Глядя на эту преступницу, расположившуюся в ее собственных комнатах, измученная Ирена пришла, наконец, в бешенство.

— Что же вам нужно от меня, шарлатанка вы этакая! Вы преследуете меня даже в моем доме! Но я не позволю замучить себя до смерти! Я...

— Не говорите же так громко,—прервала ее женщина с оскорбительною фамильярностью.—Дверь открыта, прислуга может слышать. Мне-то все равно. Мне, ведь, нечего скрывать, и, в конце-концов, в тюрьме мне будет немногим хуже, чем на свободе. А вот вам, фрау Вагнер, следовало бы быть поосторожнее. Я прежде всего закрою дверь на тот случай, если вам угодно будет еще погорячиться. Но я вас предупреждаю, что ругательства не производят на меня никакого впечатления.

Силы, вспыхнувшие в порыве ярости, снова покинули фрау Ирену перед несокрушимостью этой особы. Она стояла

почти смиренно и взволнованно, как ребенок, ожидающий, какой урок ему зададут.

— Итак, фрау Ирена, без длинных предисловий. Мне живется плохо, вы это знаете. Я вам уже говорила. Сейчас мне нужны деньги, чтобы уплатить проценты. У меня есть еще и другие нужды. Мне бы хотелось, наконец, привести свои дела немножко в порядок. Я пришла к вам за тем, чтобы вы меня выручили и дали, ну, скажем, четыреста крон.

— Я не могу,—пролепетала фрау Ирена, испуганная размером суммы, которой она и в самом деле не располагала.—У меня сейчас действительно нет таких денег. За этот месяц я вам дала уже триста крон. Откуда мне их взять?

— Ну, как-нибудь устройтесь, подумайте. Такая богатая женщина, как вы, может добыть денег, сколько хочет. Нужно только захотеть. Так что обсудите это дело, фрау Ирена, и все устроится.

— Но у меня действительно их нет. Я бы охотно вам дала, но у меня, право же, нет столько. Сколько-нибудь я могла бы вам дать, может быть, сто крон...

— Я сказала, что мне нужно четыреста крон,—бросила она грубо в ответ, как бы обиженная таким предложением.

— Но у меня их нет!—воскликнула Ирена в отчаянии. «А что, если сейчас вернется муж?», мелькнуло у нее в голове; он мог прийти с минуты на минуту.—Клянусь вам, что у меня нет...

— Тогда постарайтесь раздобыть...

— Я не могу...

Женщина окинула ее взглядом с ног до головы, точно хотела оценить ее.

— Вот, например, это кольцо... Если его заложить, то деньги будут. Я, правда, плохо разбираюсь в драгоценностях.

У меня их никогда ведь не было... Но я думаю, что четыреста крон можно будет за него получить...

— Это кольцо!—воскликнула Ирена.

Это было обручальное кольцо, единственное, с которым она никогда не расставалась, и которому крупный и красивый камень придавал большую ценность.

— А почему бы нет? Я вам пришлю ломбардную квиванцию, и вы сможете его выкупить, когда захотите. Вы ведь получите его обратно. Я его не оставлю себе. Что мне, бедной женщине, делать с таким благородным кольцом?

— За что вы меня преследуете? За что вы мучаете меня? Я не могу... Я не могу. Вы же должны это понять... Вы видите, я сделала все, что было в моих силах. Вы же должны это понять. Пожалейте меня!

— Меня тоже никто не жалел. Меня довели чуть ли не до голодной смерти. Почему же должна именно я пожалеть такую богатую женщину?

Ирена хотела ответить резкостью. Но вдруг услышала,— у нее застыла в жилах кровь,—что внизу хлопнула дверь. Должно быть,—это муж возвращается из бюро. Не размышляя, она сорвала кольцо с пальца и протянула его просительнице; та поспешно его спрятала.

— Не бойтесь. Я уйду,—кивнула женщина, заметив невыразимый ужас на лице Ирены, которая напряженно прислушивалась к мужским шагам, отчетливо раздававшимся в передней. Женщина открыла дверь, поклонилась входившему мужу Ирены, который взглянул на нее без особого внимания, и исчезла.

— Какая-то дама приходила за справкой,—сказала Ирена из последних сил, как только за тою закрылась дверь. Самый страшный миг миновал. Ее муж ничего не ответил и спокойно прошел в столовую, где стол был уже накрыт к завтраку.

Ирене казалось, что воздух обжигает ей то место на пальце, которое было обыкновенно защищено прохладным обручем кольца, и что все смотрят на это обнаженное место, как на клеймо. За завтраком она все время прятала руку, но напряженные нервы издевались над нею, и ей чудилось, что муж неотступно смотрит ей на руку и преследует взглядом каждое ее движение. Она всеми силами старалась отвлечь его внимание и непрерывными вопросами поддерживала беседу. Она то-и-дело обращалась к нему, к детям, к гувернантке, то-и-дело разжигала разговор огоньками вопросов, но у нее не хватало дыхания, и беседа снова гасла. Она силилась казаться веселой и заразить своим весельем других, она дразнила детей и напускала их друг на друга, но они не смеялись и не спорили. В ее веселости была, должно быть, какая-то фальшь,—она сама это чувствовала,—и эта фальшь действовала на других. Чем больше она старалась, тем выходило неудачнее. В конце-концов она утомилась и умолкла.

Остальные тоже молчали: она слышала только тихий стук тарелок, да голос страха внутри. Вдруг муж спросил ее:

— А где же твое кольцо?

Она вздрогнула. Внутри громко раздалось: кончено! Но инстинктивно она все еще сопротивлялась. Она понимала, что теперь нужно напрячь все силы. Еще одну только фразу, одно только слово. Найти еще одну только ложь, последнюю ложь.

— Я... я его отдала почистить.

И как бы окрепнув от этой неправды, она прибавила решительно:

— Послезавтра я за ним схожу.—Послезавтра. Теперь она связана: если обман не удастся, он должен рухнуть, а вместе с ним погибнет и она. Она сама себе поставила срок,

и в ее смятенный страх вдруг проникло новое чувство, нечто вроде счастья, что решительная минута так близка. Послезавтра: отныне она знала срок и чувствовала, как это сознание затопляет ее страх каким-то странным покоем. Внутри нарастало что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть.

* *
*

Твердая уверенность близкой развязки внесла в ее душу неожиданную ясность. Нервность каким-то чудом уступила место зрелой рассудительности, а страх сменился ей самой непонятным чувством кристаллического покоя, благодаря которому все события в ее жизни предстали ей вдруг прозрачными и в своем истинном значении. Она измерила свою жизнь и увидела, что она все еще много весит, если только ей удастся сохранить ее в том новом и возвышенном смысле, который она постигла в эти дни страха; если она может начать новую жизнь, чистую и ясную, без лжи,—она к этому готова. Но для того, чтобы жить разведенной женой, обманувшей мужа, опозоренной, для этого она слишком устала; и слишком устала также продолжать эту опасную игру в покупаемый на срок покой. Она чувствовала, что сопротивление уже невыносимо, что конец близок, что ее в любую минуту могут предать муж, дети, все кругом, она сама. Убежать от вездесущего врага было невозможно. А признание, единственное прибежище, было для нее недоступно, теперь она это знала. Оставался один только путь, но оттуда не было возврата.

* *
*

Утром она сожгла письма, привела в порядок свои безделушки, но избегала детей и вообще всего, что ей было мило. Она сторонилась радостей и соблазнов, боялась,

что напрасное колебание только затруднит ей принятое решение. Потом она вышла на улицу, ей хотелось в последний раз испытать судьбу, не встретится ли ей шарлатанка. Она опять безостановочно бродила по улицам, но уже без прежнего чувства напряжения. Что-то в ней устало, у нее не было сил продолжать борьбу. Она бродила, точно по обязанности, целых два часа. Этой особы нигде не было. Она уже не огорчалась. Ей даже не хотелось больше встретиться с нею, настолько она чувствовала себя обессиленной. Она вглядывалась в лица прохожих, и все они казались ей чужими, мертвыми, безжизненными... Все это было словно уже далеко, утрачено и больше ей не принадлежало. Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что, оглянувшись, она уловила по ту сторону улицы, в толпе, взгляд мужа, тот странный, жесткий, толкающий взгляд, которым он смотрел на нее последнее время. Она стала боязливо вглядываться, но та фигура быстро исчезла позади проезжавшего экипажа, и она успокоилась, вспомнив, что в этот час он всегда бывает в суде. В своем волнении она потеряла представление о времени и явилась к завтраку с опозданием. Но и мужа, прогнев обыкновения, дома еще не было. Он пришел только две минуты спустя, и ей показалось, что он слегка взволнован.

Она сосчитала, сколько часов остается до вечера, и испугалась, что их так много: как все это странно, как мало нужно времени, чтобы проститься, каким все кажется незначительным, когда знаешь, что ничего не можешь взять с собою. На нее напала какая-то сонливость. Она механически вышла на улицу и пошла наугад, ни о чем не думая и ничего не замечая. На каком-то перекрестке кучер едва успел осадить лошадей, она уже видела налетавшее на нее дышло. Кучер выругался, она даже не оглянулась: это было бы спасением или отсрочкой.

Случай мог избавить ее от решения. Она устало пошла дальше; как приятно было ни о чем не думать и только смутно ощущать темное чувство конца, тихо опускающийся и все окутывающий туман.

Но вот она подняла случайно глаза, чтобы посмотреть, какая это улица, и вздрогнула: в своем скитании она забрела почти до самого дома своего возлюбленного. Что это, знак? Быть-может, он еще в состоянии ей помочь, он, наверно, знает адрес этой особы. Она чуть не задрожала от радости. Как это она раньше не подумала об этом, ведь это так просто! Она сразу ожила, надежда окрылила вялые мысли, и они закружились в беспорядке. Он должен пойти с нею к этой особе и раз навсегда покончить с этим. Он должен пригрозить ей и потребовать, чтобы она прекратила вымогательство; возможно даже, что удастся с помощью некоторой суммы заставить ее покинуть город. Ей вдруг стало жаль, что она так дурно обошлась с несчастным, но он поможет ей, она в этом уверена. Как странно, что это спасение пришло только теперь, в последний час.

Она быстро взбежала по лестнице и позвонила. Никто не открывал. Она стала прислушиваться: ей показалось, что за дверь слышны осторожные шаги. Она позвонила вторично. Снова молчание. И опять тихий шорох за дверь. Она потеряла терпение; стала звонить и звонить без конца, ведь речь шла об ее жизни.

Наконец, за дверь что-то зашевелилось, щелкнул замок, и приоткрылась узкая щель.

— Это я,—произнесла она поспешно.

Тогда он словно в испуге открыл дверь.

— Это ты... это вы, сударыня,—бормотал он смущенно.—Я... простите... я не ожидал... что вы придете... простите... что я в таком костюме.—Он указал на рукава

своей рубашки. Он был без воротничка и с расстегнутой грудью.

— Мне необходимо с вами переговорить. Вы должны мне помочь,—сказала она с нервным волнением, потому что он все еще держал ее на пороге, как нищую.— Не можете ли вы впустить меня и выслушать одну минуту?— прибавила она раздраженно.

— Прошу вас,—пробормотал он смущенно, бросив взгляд в сторону,—только сейчас... я не могу...

— Вы должны меня выслушать. Ведь это ваша вина. Вы обязаны мне помочь... Вы должны добыть мое кольцо вы должны. Или скажите, по крайней мере, где она живет... Она меня все время преследует, а теперь исчезла... Вы обязаны, слышите, вы обязаны...

Он пристально смотрел на нее. Только теперь она заметила, что произносит какие-то бессвязные слова.

— Ах, да... ведь вы не знаете... Так вот: ваша возлюбленная, ваша прежняя, эта особа видела, как я уходила от вас последний раз, и с той поры она меня преследует, требует у меня деньги... Она замучает меня до смерти. Теперь она отняла у меня кольцо, и мне необходимо получить его назад. Сегодня вечером оно должно быть у меня, я так сказала,—сегодня вечером... Так вот, помогите мне.

— Но... но я...

— Вы согласны мне помочь или нет?

— Но я не знаю никакой особы! Я не понимаю, о ком вы говорите. Я никогда не имел никакого отношения к вымогательницам!—Он был почти груб.

— Так... вы ее не знаете. Она, значит, все это говорит на ветер. А между тем она знает ваше имя, знает, где я живу. Быть-может, неправда и то, что она меня шантажирует. Быть-может, все это мне снится.

Она громко рассмеялась. Ему стало не по себе. У него мелькнула мысль: не сошла ли она с ума,—так сверкали ее глаза. Она была сама не своя, говорила бессмысленные слова. Он испуганно оглянулся.

— Прошу вас, сударыня, успокойтесь... Уверю вас, вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. Должно быть... нет, я сам ничего не понимаю. С такого рода женщинами я незнаком. Те две связи, которые у меня были за время моего, как вам известно, краткого пребывания здесь, не такого порядка... я не хочу называть имен... но это так смешно... уверю вас, это какое-то недоразумение...

— Так, значит, вы не хотите мне помочь?

— Разумеется... если я могу.

— Тогда... идемте. Мы вместе пойдем к ней.

— К кому... К кому идти?

Она схватила его за руку, и он опять с ужасом подумал, что она сошла с ума.

— К ней... Хотите вы идти или нет?

— Но разумеется... разумеется.—Его подозрение окрепло, когда он увидел, с какой жадностью она его торопит.— Разумеется... разумеется.

— Так идемте же... Речь идет о жизни или смерти.

Он сдерживался, чтобы не улыбнуться. Вдруг он принял официальный тон.

— Извините, сударыня... Но в настоящую минуту я лишен возможности... У меня сейчас урок музыки... Я не могу прервать...

— Так, так... — громко рассмеялась она ему в лицо, — так вы даете уроки музыки... В сорочке... Лжец!—и вдруг, охваченная какой-то мыслью, она бросилась вперед. Он старался удержать ее.—Так эта шантажистка у вас, здесь? Вы, чего доброго, с мею заодно... Вы, может быть, делитесь

тем, что сорвали с меня? Но я ее поймаю! Мне теперь ничто не страшно.

Она громко кричала. Он держал ее крепко, но она бо-ролась, вырвалась и бросилась к дверям спальни.

Какая-то фигура, очевидно подслушивавшая разговор, отскочила от двери. Ирена изумленно смотрела на незна-комую даму в несколько небрежном туалете, поспешно отвернувшую лицо. Ее возлюбленный бросился за нею следом, чтобы задержать и предотвратить несчастье, по-тому что считал ее безумной, но она сама тотчас же вышла из комнаты.

— Простите, — пробормотала она. В голове у нее все смешалось. Она больше ничего не понимала, она чувство-вала только отвращение, бесконечное отвращение.

— Простите, — повторила она, видя, что он провожает ее встревоженным взглядом. — Завтра... Завтра вы все пой-мете... то-есть... я сама ничего больше не понимаю.

Она говорила с ним, как с чужим. Ничто не напоми-нало ей о том, что она когда-то принадлежала этому че-ловеку, она почти не ощущала своего собственного тела. Теперь все еще больше перепуталось; она знала только, что где-то здесь кроется ложь. Но она была слишком утомлена, чтобы думать, слишком утомлена, чтобы смот-реть. С закрытыми глазами шла она по лестнице, как при-говоренный на эшафот.

* * *

Когда она вышла, на улице было темно. Быть-может, — мелькнула у нее мысль, — та поджидает ее напротив; быть-может, в последнюю минуту придет спасение... Ей хотелось сложить руки и молиться какому-то забытому богу. О, если бы можно было купить еще хоть несколько месяцев, до лета, и пожить мирно, вдали от вымогательницы, посреди

полей и лугов, одно только лето. Она жадно всматривалась в темноту улицы. Ей показалось, что в воротах кто-то сторожит, но, когда она подошла ближе, фигура отошла вглубь сеней. Одно мгновение ей почудилось, что этот человек похож на ее мужа. Она уже второй раз пугалась сегодня, думая, что узнает его и его взгляд на улице. Она остановилась, чтобы убедиться, он это или нет, но фигура скрылась в темноте. Она тревожно двинулась дальше, со странно напряженным ощущением, в забытьи, словно от жегшего сзади взгляда. Она оглянулась еще раз. Но никого больше не было видно.

Аптека была поблизости. Она вошла с легкой дрожью. Аптекарь взял рецепт и принялся за приготовление. В эту короткую минуту она увидела все: блестящие весы, хорошие гирьки, маленькие этикетки, а наверху в шкапах строй эссенций с непонятными латинскими названиями, которые она бессознательно принялась читать подряд. Она слышала, как тикают часы, вдыхала в себя своеобразный запах, жирно-сладкий запах лекарств, и припомнила вдруг, как в детстве она всегда просила у матери позволения пойти в аптеку за лекарством, потому что ей нравился этот запах и странный вид множества блестящих тиглей. И вдруг она с ужасом подумала, что забыла проститься с матерью, и ей стало мучительно жаль бедной женщины. «Как бы она испугалась», думала Ирена с содроганием, но аптекарь уже отсчитывал из пузатого сосуда светлые капли в синюю склянку. Она наблюдала неподвижно, как смерть переходит из большого сосуда в маленький, откуда скоро перельется в ее жилы, и по телу ее пробежал озноб. Бессмысленно, как под гипнозом, смотрела она на его пальцы, втыкавшие теперь пробку в наполненную склянку, а теперь оклеивавшие опасное отверстие бумагой. Все ее чувства были скованы и разбиты этой жуткой мыслью.

— Две кроны, пожалуйста,—сказал аптекарь.

Она очнулась от оцепенения и оглянулась кругом, не соображая, где она. Затем машинально опустила руку в сумочку, чтобы достать деньги. Она была все еще словно во сне, посмотрела на монеты, не сразу их распознавая, и невольно замешкалась с подсчетом.

Вдруг она почувствовала, что кто-то взволнованным движением отстраняет ее руку, и услышала звон монет о стеклянную тарелку. Возле нее протянулась чья-то рука и взяла склянку.

Она невольно обернулась. И взгляд ее окаменел. Рядом стоял ее муж, с крепко сжатыми губами. Он был бледен, а на лбу блестели капли пота.

Она почувствовала, что теряет сознание, и должна была опереться на стол. Теперь ей стало ясно, что это его она видела на улице, и что это он сейчас сторожил в воротах; что-то в ней еще там каким-то чутьем узнало его и в ту же секунду смятенно отсеклось.

— Пойдем! — сказал он глухим, сдавленным голосом. Она взглянула на него неподвижным взглядом и внутренне, в какой-то глухой, глубокой области сознания удивилась тому, что повинуется. И пошла за ним, сама не сознавая, что идет.

Они шли по улице рядом, не глядя друг на друга. Он все еще держал склянку в руке. Один раз он остановился и вытер влажный лоб. Невольно остановилась и она, сама того не желая и не сознавая. Но взглянуть на него она не решилась. Оба молчали, а между ними стоял уличный шум.

На лестнице он пропустил ее вперед. И как только она почувствовала, что его нет рядом, у нее задрожали ноги. Она остановилась и прислонилась к перилам. Тогда он взял ее под руку. От этого прикосновения она вздрогнула и пробежала последние ступеньки бегом.

Она вопля в комнату. Он последовал за нею. Тускло мерцали стены, с трудом можно было различить отдельные предметы. Они все еще не произнесли ни слова. Он сорвал со склянки бумажный колпачок, откупорил ее и вынул содержимое. Затем отбросил склянку в угол. Она вздрогнула от звящего звука.

Они все молчали и молчали. Она чувствовала, как он себя сдерживает, чувствовала, не глядя на него. Наконец, он подошел к ней. Близко, совсем близко. Она чувствовала его тяжелое дыхание и видела неподвижным, затуманенным взором, как сверкали его глаза в темноте комнаты. Она ожидала, что он даст волю своей ярости, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за руку. Сердце перестало биться, и только нервы дрожали, как напряженные струны. Она всем существом ждала кары и почти жаждала его гнева. Но он все молчал, и она с бесконечным изумлением поняла, что он подошел к ней с нежностью.

— Ирена,—сказал он, и голос его прозвучал необыкновенно мягко.—Долго ли еще мы будем друг друга мучить?

И вдруг, судорожно, с невероятной силой, как сплошной, безрассудный, звериный крик, хлынуло ее накопившееся, подавляемое рыданием всех этих недель. Слозно чья-то разгневанная рука схватила ее изнутри и трясла, она шаталась, как пьяная, и упала бы, если бы он ее не поддерживал.

— Ирена,—успокаивал он ее.—Ирена, Ирена,—все тише, все ласковее произнося это имя, точно хотел все возрастающей нежностью слова усмирить отчаянное смятение судорожных нервов. Но в ответ раздавались лишь рыдания, дикие порывы, волны страдания, раздиравшие все тело. Он повел, он понес это содрогающееся тело к дивану и уложил его. Но рыдания не утихали. Судорога слез сотрясала члены подобно электрическим разрядам,

волны холодного трепета пробегали по измученной плоти. После долгих дней невыносимого напряжения нервы прорвались, и без удержу бушевала мука в бесчувственном теле.

В страшном волнении он держал трепещущее тело, трогал холодные руки, целовал сначала ласково, а потом в диком порыве испуга и страсти ее платье, ее затылок, но трепет все попрежнему терзал лежащую, а изнутри набегали порывистые, наконец раскованные волны рыданий. Он коснулся холодного, залитого слезами лица и почувствовал бьющиеся жилы на висках. Ему стало невыразимо страшно. Он опустился на колени, чтобы говорить ближе к ее лицу.

— Ирена,—и снова прикоснулся к ней,—почему ты плачешь?.. Теперь... теперь ведь все прошло... зачем же мучиться... ты не должна бояться... она никогда больше не придет... никогда...

Она вздрогнула опять, он держал ее обеими руками. Чувствуя это отчаяние, которым раздиралось ее измученное тело, он испытывал такой страх, словно он убил ее. Он целовал ее беспрестанно и шептал смятенные, извняющиеся слова.

— Нет... никогда больше... я клянусь тебе... я ведь не мог ожидать, что ты так испугаешься... я хотел только позвать тебя... чтобы ты вспомнила свой долг, только чтобы ты ушла от него... навсегда... навсегда... к нам назад... ведь у меня не было выбора, когда я об этом случайно узнал... я же не мог сказать тебе сам... я думал все время, что ты придешь... потому-то я и подослал эту бедную женщину, чтобы она понудила тебя... это несчастное существо, артистка, лишилась места... она неохотно шла на это, но я настаивал... я вижу, что был неправ... но я хотел, чтобы ты вернулась... я ведь давал тебе понять, что

я готов... что я ничего другого не хочу, как только простить, но ты меня не понимала... но так... так далеко я не хотел тебя завести... я так страдал, видя все это... я следил за каждым твоим шагом... ради детей, понимаешь, ради детей я обязан был заставить тебя... но теперь ведь все прошло... теперь все будет опять хорошо...

Из бесконечной дали она смутно слышала раздававшиеся близко и все же непонятные слова. В ней бушевал шум, заглушавший все смятение чувств, в котором тонули все ощущения. Она ощущала прикосновения к своей коже, поцелуй и ласки и свои собственные, уже остывающие слезы, но кровь внутри звенела глухим, угрожающим звоном, который мощно нарастал и вот уже гремел, как яростные колокола. Потом она потеряла сознание. Смутно очнувшись от обморока, она чувствовала, что ее раздевают, видела точно сквозь густые облака лицо мужа, ласковое и озабоченное. Затем она канула глубоко во мрак, в долгожданный, черный, безрезный сон.

* * *

Когда она, на следующее утро, открыла глаза, в комнате было уже светло. И в себе самой она ощущала свет, проясненную и словно очищенную грозой собственную кровь. Она старалась припомнить, что с нею было, но ей все еще казалось, что она видит сон. Ее смутные ощущения представлялись ей нереальными, легкими и освобожденными, словно когда витаешь во сне по комнатам, и, чтобы убедиться, что это явь, она стала ощупывать себе руки.

Вдруг она вздрогнула: на пальце у нее блестело кольцо. Она сразу пришла в себя. Бессвязные слова, которые она не то слышала в полубомороке, не то не слышала, смутное, но вещее чувство в прошлом, не посмевшее стать

мыслью и подозрением, все это теперь вдруг сплелось в ясную связь. Она сразу все поняла, вопросы мужа, изумление возлюбленного; все петли распутались, и она увидела страшную сеть, которой была оплетена. Ей стало обидно и стыдно, снова задрожали нервы, и она почти пожалела о том, что очнулась от этого безгрезного, безмятежного сна.

Рядом раздался смех. Дети встали и шумели, как проснувшиеся птички, радуясь молодому дню. Она явственно различала голос мальчика и впервые удивилась тому, как он похож на голос отца. Легкая улыбка слетела ей на уста и затихла на них. Она лежала с закрытыми глазами, чтобы глубже насладиться всем этим, что было ее жизнью, а теперь и счастьем. Внутри что-то все еще слегка болело, но то была отрадная боль, и жгла она так, как жгут раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.

ТАЙЦА БАЙРОНА

ПЕРЕВОД П. С. БЕРНШТЕЙН

Жизнь его угасла,—с тех пор прошло почти столетие. Его творения, некогда прославленные всем миром, теперь забыты; осталось несколько неувядаемых стихотворений, несколько бессмертных строк из «Чайльд-Гарольда» и «Дон-Жуана»,—но и они окаменели под покровом славы и почитания. Давно уже герой Месолунги перестал быть властителем дум; давно прошло время, когда Европа, увлеченная его героической меланхолией, копировала романтическую позу, и надменность его мировой скорби была прообразом «байронизма» во всех странах. Отдвел и омертвел облик этого удивительного человека, единственного поэта своей эпохи, которому не мог отказать в страстном поклонении стареющий Гете;—жива теперь лишь тайна его жизни, занимавшая три поколения. Но загадка привлекает внимание только до тех пор, пока она остается неразгаданной; побежденный сфинкс кидается в бездну и погибает. Лишь недавно сорвано покрывало с тайны, хранившейся целое столетие. История этой—теперь обнаруженной—тайны служит глубоко драматическим и наглядным вкладом в науку познания души; она должна быть передана во всех своих сплетениях, чтобы создать запоздалую славу забытому и трогательному образу в награду за испытанный позор. Ибо это история большого самопожертвования и тем самым—пример для всех времен.

ТАЙНА

15 января 1816 года, всего через год после бракосочетания с лордом Джорджем Поэлем Байроном, через месяц после рождения первой дочери, лэди Арабэлла Байрон покидает дом супруга, чтобы погостить у своих родителей в Лейчестршире. Это всего лишь маленькое увеселительное путешествие; с дороги она пишет мужу нежное письмо, в котором называет его ласкательным именем «Dear dock» ¹⁾ и подписывается своим интимным прозвищем «Pirrin» ²⁾.

Было условлено, что муж вскоре последует за ней, — но вдруг она прекращает переписку, вступает в таинственное совещание с адвокатами, ее воспитательница привозит документы, украденные из взломанного письменного стола Байрона, составляется протокол, который в продолжение ста лет должен храниться запечатанным. И, наконец, ее мать в резкой форме требует от Байрона согласия на развод. Напрасны старания Августы — сестры Байрона и подруги Арабэллы — уладить недоразумение; туманные угрозы передаются из уст в уста, надвигается сенсационное судебное разбирательство, но Байрон уступает, развод совершается, и поэт покидает Англию, чтобы никогда больше не увидеть ни жены, ни дочери.

Что же произошло? В обществе шушукуются, газеты с ироническими намеками замалчивают неприятное происшествие. Байрон пишет сентиментальное стихотворение, посвященное жене, и пламенный памфлет по адресу «mischiefmaker» ³⁾, похитительницы его писем, в полных сарказма строфах Дон-Жуана бичует собственный брак.

1) «Милый голубок».

2) «Наливное яблочко».

3) Злодейка, виновница ссор.

Но что же, собственно, произошло? Он молчит. Она молчит. Все посвященные молчат. Из упомянутых строф известно, что ревность была возбуждена этими документами, что была сделана попытка при содействии врачей объявить его безумным и преступником; известно, что мадам де-Сталь пишет из Женевы письмо Арабэлле с целью посодействовать примирению, но встречает решительный отпор. Но никому неизвестно, что так озлобило Арабэllu, вышедшую замуж за любовника своей тетки Каролины Лэм, за льва Сен-Джэмс-Стрита, безнравственность и вольнодумство которого были секретом полишинеля. Одно достоверно: что-то чудовищное должен был совершить этот изверг; и все общество, а позже—бесчисленная рать биографов и филологов с неутомимым рвением изошрляется в самых невероятных догадках. Но он молчит. Молчит и она, молчит до самой смерти—долгих пятьдесят лет. Отзвучало и его творчество. И только тайна пережила их всех.

ТРИ ОБВИНИТЕЛЯ

То, что вина падает на него, ни в ком не возбуждает сомнений. Ибо он покидает страну; свет наводнен легендарными слухами о его приключениях и распутстве; она же покинута—эмблема оскорбленной невинности—безответная, страдающая. И вот против него выступают три заочных обвинителя.

Первый обвинитель—его жена. Она молчит. Но этим молчанием она возводит тайное преступление в нечто чудовищное. Она не отвечает ни на одно письмо. Ее нет на его похоронах. Своей дочери она никогда не показывает портрета отца, и та в тридцать семь лет впервые слышит стихи того, кто дал ей жизнь. Дикое исступление ее ненависти прикрито в глазах света покровом христианского смирения: она заботится о бедных детях, прилежно посещает

церковь, с негодованием отвергает предложение напечатать ее портрет в биографии великого поэта, — ведь там он был бы в соседстве с портретом презревшей брачные узы графини Гвиччиоли; не отвечает на вызовы и издевательства, — но в самом тесном кругу осторожно нашептывает чудовищные намеки, которые быстро распространяются. Она долго живет, всегда с крепко сомкнутыми устами, — олицетворенная угроза, подавленный вопль гнева и ненависти.

Второй обвинитель — это Англия, общество, «cant»¹⁾. Байрон создает скандал за скандалом, издевается над религией и, что ужаснее всего, над английской нравственностью. Свою родину он выставил перед Европой в смешном виде, и путешественники привозят сведения об его безнравственном образе жизни. У Женевского озера он встречается с Шелли, автором безбожной брошюры о «Необходимости атеизма», вступает с ним в дружбу, и оба, разведенные со своими женами, открыто вступают в преступную связь с двумя сестрами, убежавшими от отца. Земляки выслеживают их, наблюдают за их чудовищным поведением, — чужие пороки всегда привлекают богобоязненных людей и дают богатую пищу их негодованию, — они наводят телескопы на его виллу, чтобы уличить этого неукротимого развратника. В Венеции они подкупают гондольеров, чтобы те подплывали как можно ближе к его гондоле, когда он катается со своим гаремом; они теснятся вокруг его дома в Равенне и Пизе, и, когда они возвращаются на родину, Англия, содрогаясь, прислушивается к повести о похождениях нового Гелиогабала и Сарданапала. Чем дольше длится его отсутствие, тем демоничнее становится его образ для родины, и ничто не может ярче иллюстрировать обывательский ужас его соотечественников, чем

¹⁾ Лицемерие.

эпизод, происшедший у мадам де-Сталь: гостившая у нее английская писательница, узнав, что в доме находится лорд Байрон, упала в обморок.

Третий обвинитель — и самый опасный, потому что он был самым достоверным — это сам Байрон в своих разговорах и стихах. Трагические маски, в которых раскрывает он свою душу, это — великие грешники и преступники Каин — праотец убийства, Сарданапал — сладострастник, развратник дон-Жуан, чародей Манфред, корсары и разбойники; в тщеславном влечении он доходит до дьявольских игр. Беспрестанно он обвиняет себя в невероятных таинственных преступлениях, — и особенно в одном, которое гонит его по свету, точно Ореста, преследуемого фуриями мести. Свой дом он называет Микенами, свою жену — Клитемнестрой, сам же он — потомок Тантала — носится по свету, бичуемый демоном совести. И в самом деле — неизбежно жутко звучит в монологе Манфреда весь порождаемый преступлением ужас бессонных ночей. В действительности этот демонизм, эти скитания по свету, конечно, не носили столь трагического характера: он жил довольно уютно в Женеве с друзьями и с новой подругой; в Пизе в его свите было десять лошадей, павлины, попугаи и обезьяны; он блистал своей славой в салонах и на приемах, — но в стихах, полных нарочитого демонизма, его чело омрачено печатью всех семи смертных грехов. Вполне понятно, что не было преступления, которое не мелькало бы в догадках современника, и всякое предположение казалось правдоподобным. Понятно и то, что тайна внезапного бегства и разрыва с женой возбудила жгучее любопытство его современников и двух последних поколений; тем более, что сквозь молчание все же прокрадывался тайный шопот предположений и подозрений, никогда не превращаясь в явственную речь.

ПОТОНУВШИЙ КЛЮЧ

Одно обстоятельство окружает тайну еще большей таинственностью. Лорд Байрон ведет дневник, в котором записано все, касающееся его внешней и внутренней жизни. Он смутно чувствует себя заподозренным, но не знает, против кого направить стрелу. Никто не высказывается ясно. Каждый ускользает, едва он протягивает руку. Его жена угрожает разоблачениями,—он предоставляет ей свободу слова,—и она умолкает. Клевета неуловима. И вот он точит оружие на случай, если противник попытается осквернить его труп: он пишет мемуары, которые «после его смерти должны противостоять уже высказанной лжи и заглушить ту, которая может еще возникнуть». В доказательство своего беспристрастия он предлагает жене прочесть их. Она надменно отвергает предложение. И вот, тайна, о которой молчат уста, живет, запечатленная на бумаге.

Хранителем этого клада он назначает своего лучшего друга—Томаса Мура. Ему он доверяет это наследие, и—в доказательство того, что он не сомневается в опубликовании мемуаров—он заставляет издателя причитающийся ему гонорар в две тысячи фунтов выплатить Муру,—щедрая благодарность за дружескую услугу. В Венеции он вручает ему первые листки, потом присылает ему следующие. Затем он предпринимает свое роковое путешествие в Грецию.

В пасхальное воскресенье 1824 года подымается черный флаг над фортом Месолунги. Князь Маврокордато пушечным салютом оповещает о смерти поэта, фрегат увозит его тело в Англию. И вот, его гроб еще не опущен в могилу,—а на родине уже начинается торг его тайной. Все вдруг собрались вместе—лэди Байрон, Мур, сестра, издатель; звенят сребреники; Мур за уничтожение тайны получает вдвое больше, чем получил от друга за ее хранение.

И они принимают гнусное решение сжечь мемуары. В ком-то из них еще зашевелилась совесть: не лучше ли оставить их запечатанными, пока не сойдут со сцены все лица, затронутые в них? Но алчность, тщеславие и страх сильнее доводов, внутренних совестью; в печке разводят огонь, и в присутствии семи свидетелей безжалостно уничтожается одно из самых важных и самых ценных произведений, быть-может, лучшего лирического поэта Англии. Теперь они спокойны—и Мур со своим чеком, и лэди Байрон со своей неутомимой ненавистью.

Ключ потерян, тайна погребена, сожжена рукопись, которая была готова заговорить,—«and sealed is now each lip that could have told» ¹⁾.

СЛОН В ФАРФОРОВОЙ ЛАВКЕ

Смерть постепенно уносит живых свидетелей. Почти полвека прошло с того дня, как лэди Байрон покинула дом своего супруга; она сама, сестра Байрона, посвященные друзья умерли, тайна еще звенит едва слышно в стеклянной оболочке увядаемых стихов. Она обратилась в музыку, в нежный намек, в звучащее воспоминание. Ненависть испарилась, выскользнув из человеческих рук.

И вот, в стеклянное царство вступает тяжелыми, неуклюжими шагами слон. Он приходит из Америки, вооруженный пуританским гневом, банальностью и ограниченностью,—он приходит, преисполненный сознанием христианского долга, чтоб покарать грешника и спасти невинность. Госпожа Бичер-Стоу, прославившаяся своим филантропическим романом «Хижина дяди Тома», приглашена на чайку чая к лэди Байрон; ее мягкая, жалостливая, несколько простоватая душа приходит в волнение при виде покинутой

¹⁾ «И замкнулись уста, которые могли бы сказать».

женщины, имевшей несчастье быть замужем за этим безбожным «монстром». Вместе с чаем она проглатывает несколько намеков и доверчивых слов, ибо лэди Байрон не прочь, разыгрывая перед светом великую молчаливицу, за чайным столом обмолвиться намеком,—конечно, после семикратных обетов хранения тайны. И она отлично знает, что каждый из приглашенных после семидесятикратных обетов молчания разгласит тайну не менее семидесяти раз.

Через некоторое время лэди Байрон умирает. Свет не очень чтит память усопшей. Пока Байрон был жив, и его скандальное поведение возбуждало религиозный пыл, общественное мнение было на ее стороне; но его тень, окруженная ореолом героической смерти, побеждает: теперь уже клеймят черствость лэди Байрон, а сентиментально настроенные умы сочиняют, что именно ее жестокость и послужила причиной его смерти. Тут Бичер-Стоу приходит в возмущение. Она потрясена. В пуританском рвении она возносит филантропические добродетели усопшей, ее христианский образ жизни, ее тайное мученичество. Она тяжело вздыхает, ломает руки, она борется с собой, ужасное слово не может сорваться с ее чистых уст,—но вдруг она взвыла и бросила великую тайну в свет. Разглашенная одним из самых распространенных журналов, эта великая тайна пронеслась по обоим полушариям. И, содрогаясь, внемлет ей Англия: лорд Байрон... лорд Байрон—трижды взывает она прежде, чем открыть тайну,—лорд Байрон имел кровосмесительную связь со своей сестрой Авророй.

АВРОРА ЛЭЙ

И вот это имя, этот необычайно трогательный образ пригвожден общественным мнением к позорному столбу. Ее знают по его стихам, по его письмам, которые дышат

бесконечной благодарностью и братскою любовью. «The tower of strength in the hour of need» — «башня опоры в час нужды», — так называет он ее, единственную женщину, «любовь которой никогда не изменяла», и последнее его стихотворение перед уходом в дальние края, это — известные «стансы к Авроре», гимн благодарности ее безграничной доброте. Ее имя он произносит с неизменным чувством благоговения. И этот человек, «The only friend» — «единственный друг», несет за него позорное клеймо.

Что мы знаем о ней? Немного. Ее облик всегда стоял в тени. Отец ее и Байрона, «mad Byron» — «неистовый Байрон», авантюрист, игрок и ловелас, уехал во Францию с одной из самых красивых и самых богатых женщин Англии и там быстро промотал ее состояние; несчастная умирает в нужде, оставив дочь Аврору, которую отправляют к ее родным. «Mad Byron», обремененный долгами, снова едет в Англию, чтобы поймать в свои сети другую богатую наследницу; там он находит толстую истеричку мисс Гордон, которая его безумно любит, награждает ее ребенком — будущим лордом Байроном, забирает ее деньги и возвращается во Францию, где достойным образом заканчивает свой жизненный путь. Когда брат и сестра знакомятся, Авроре двадцать один год, Джорджу шестнадцать лет; она обращается с ним, как с ребенком, всю свою жизнь называет его не иначе, как «Baby Byron». Она выходит замуж за двоюродного брата, полковника Лэй, имеет четверых детей, остается некрасивой, экстравагантной, незначительной женщиной, без особого интереса к литературе; только дружба связывает ее с братом и его супругой. Во время свадебного путешествия молодая чета гостит у нее, впоследствии она живет у них в Лондоне и поддерживает Арабэllu в тяжелые часы ее жизни; во время развода она является посредником между супругами и остается в дружбе с обоими.

Казалось бы, ни упреки, ни подозрения не могут ее коснуться; казалось бы, ей обеспечена неуязвимая память ее брата. И вдруг Бичер-Стоу выливает на ее имя ненависть и чернила. И в течение полувека оно остается запятанным.

ВИДИМОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Какие доводы приводит Бичер-Стоу? Прежде всего аргумент учеников Пифагора: «*αὐτός ἔφη*», «он сам это сказал». Лэди Байрон ей шепнула это между чаем и кексом, а она должна была это знать. По ее словам, она однажды застала Аврору и своего мужа в интимном времяпрепровождении; письма и признания подтвердили ее чудовищные подозрения. К тому же против этого второго довода нельзя возразить: в бесчисленных стихах отношения с той единственной женщиной, которую он любил, Байрон называет преступными. Стихи —

I speak not—I trace not—I breath not they name
There is love in the sound—there is guilt in the fame ¹⁾

составляют, подходящее созвучие для подозрений; в «Манфреде» чародей «губит своей любовью» сестру — Астарту; Шелли пишет рядом с ним трагедию «Ченчи», самую смелую апологию кровосмешения. Байрон в своем «Канне» сочетает сестру и жену в едином образе. Конъектуры приобретают большую степень вероятия, игра с мыслью о кровосмешении несомненно налицо.

Но в такой же мере, а может быть и в большей, это предположение психологически неправдоподобно. Прежде всего — всеобщее боязливое молчание при жизни Авроры. Почему, будучи так уверены в ее виновности, они с таким

¹⁾ Заветное имя сказать, начертать

Хочу—и не смею молве напечатать. (Перев. Вяч. Иванова).

страхом отвергли вызов Байрона? Совершенно определенно пишет он в 1817 году из Венеции в напечатанной статье: «Мне сообщили, что адвокат и лэди Байрон заявили, что ее уста хранят молчание по поводу причины развода. Если это так, то не я их замкнул, и эти господа оказали бы мне величайшее одолжение, побудив лэди Байрон заговорить». Так не пишет тот, кто мог бы бояться обвинения в кровосмешении. И что еще удивительнее этого молчания (это станет понятно впоследствии)—молчание, которое можно принять за стыдливость перед альковными разоблачениями: в феврале 1816 года лэди Байрон узнает, что Аврора Лэй будто бы имеет преступную связь с ее мужем. И что же она делает? Она еще больше приближает к себе преступницу. «Нет никого на земле,—пишет она ей,—чье общество было бы мне дороже и более содействовало моему счастью, чем твое; она осыпает ее знаками нежности и живет еще восемь лет, до смерти Байрона, в самой тесной дружбе с нею. Даже доверчивый психолог — Бичер-Стоу — чувствует, что в ее аргументации имеется пробел. И она старается его затушевать указанием на христианскую снисходительность лэди Байрон, простившей раскаляющуюся грешницу. Но нельзя отделаться от совершенно определенного чувства: тут что-то не в порядке. Тайна должна бы быть таинственнее. А главное: почему семья так упорно отказывается достать из запертого шкафа эти «Family letters» ¹⁾, которые должны все разъяснить? Почему отказывается доктор Лешингтон, единственный из оставшихся в живых, засвидетельствовать это утверждение? Загадка стала еще более загадочной. Она не хочет покоиться под землей. Но никто не может пролить на нее свет.

¹⁾ Семейные письма.

АСТАРТА

И снова пятьдесят лет молчания, шутканья и тапственности. Наконец, распространяется смутный слух: впуск лэди Байрон, лорд Ловлэс, решил сорвать печать и предать гласности документы. Но книга его появляется тайно, с той же таинственностью, с какой лэди Байрон сообщала о своих подозрениях,—всего в количестве двухсот экземпляров («for private circulation»¹⁾). И книга эта называется «Астарта».

Уже одно ее название повторяет старое обвинение Астарта—сестра Манфреда, о которой он говорит: «I loved her and destroyed her»²⁾, она является тайной виновницей. И в доказательство он приводит знаменитое заявление доктора Лешингтона, в котором тот отказывался содействовать примирению с Байроном. Но странно: как-раз этот документ опирается на утверждение лэди Байрон, которое тут же подвергается всевозможным юридическим ограничениям. Так как подозрение не было доказано, лэди Байрон не видела повода к тому, чтобы немедленно покинуть дом лорда Байрона. Этот документ содержит одно удивительное упоминание: лэди Байрон заявляла, что эти «слухи» не исходили от нее. Это значит, что она боялась, как бы Байрон не узнал об их распространении и не потребовал бы объяснений, что он и сделал. Эта безответная страдальца была коварным противником, скрывавшимся за проволочным заграждением юридических хитросплетений и оговорок. Но лэди Байрон выставляет одного свидетеля—Аврору Лэй: она будто бы сама созналась ей в этом—и устно, и в двух письмах. Читатель, конечно, тотчас же перели-

¹⁾ Не для продажи.

²⁾ Я полюбил и погубил ее.

стывает книгу, в надежде найти письма. Однако, лорд Левлас пишет: «Излишне их печатать, так как их содержание подтверждается фактами». Итак, факты доказываются письмами, содержание которых подтверждается фактами,—получается удивительный заколдованный круг, поскольку факты утверждаются, а письма скрываются.

Один только документ на первый взгляд действует убедительно: любовное письмо Байрона, которое лэди Байрон отвоевала у своей невестки. Но странно: и здесь нет ни слова, обращенного лично к ней, адресат не назван, и о том, что письмо было обращено к Авроре, свидетельствует опять-таки лишь утверждение лэди Байрон. Из всего этого вытекает одно: что лэди Байрон всю свою жизнь верила в то, что ее муж состоял в преступной связи со своей единственной сестрой; что она верила в это честно, со всей страстью своей ненависти.

Но действительность еще таинственнее. И как-раз книга лорда Левласа ее раскрыла. С той минуты, как он нарушил молчание в защиту лэди Байрон, и другие посвященные не чувствовали себя обязанными долее молчать. И одна из трогательнейших душевных драм, более захватывающая, чем все созданное Байроном, наконец, раскрыта.

МЕДОРА

Медора—имя возлюбленной в «Ларе» Байрона. И однажды, за год до женитьбы, поэт, который высказывался откровенно не только в своих творениях, но и в беседах, сообщил Каролине Лэм, тетке его будущей супруги, что он ждет ребенка от женщины, которую он любит с детских лет, и, если это будет девочка, он назовет ее Медорой. Через три месяца в доме его сестры родилась дочь. Она была наречена именем «Медора» — самым причудливым, какое можно было придумать. Понятым становится

подозрение лэди Байрон, тем более, что он ей сознается, что если бы она не отвергла его первое предложение, — за два года до второго, — многие ужасные события не произошли бы. Вот где корень этого ужасного подозрения. Байрон говорит, что дочь женщины, которую он любит с самого детства, он назовет Медорой, — все это явно указывает на его сестру. И нет сомнения, что в тех письмах, которые по указанию лэди Байрон были похищены из письменного стола ее супруга, речь идет об этом ребенке. Возможно даже, что Аврора Лэй подтвердила лэди Байрон, что это дитя — ребенок Байрона, — и это служило бы объяснением пресловутого признания. Цепь доказательств как-будто замыкается. Все совпадает безукоризненно, и возникает мысль о том, что лэди Байрон права в своем ужасном подозрении.

Но в этом верно все, кроме самого главного. Тайна удивительнее всего в своих перипетиях, как цветок, под лепестком скрывающий другой лепесток и оставляющий зерно незримым в глубине. Все верно. Лорд Байрон ждет от подруги детства ребенка, которого он желает назвать Медорой, и в это самое время в доме его сестры Авроры Лэй появляется ребенок, которого нарекают именем Медоры. Но это дитя Байрона, а не его сестры, которая жертвует своим именем для спасения чести другой женщины. Всплывает на поверхность новое лицо. И к нему относится тайна, самая глубокая тайна, какую скрывал Байрон, — единственная, которую он скрыл от света, и которая разоблачается только теперь, через столетие.

РОМАНС О МЭРИ ЧАУОРС

В июле 1816 года Байрон пишет едва ли не самое лучшее свое стихотворение. Оно называется «Сон», и в глазах всех его биографов представляет собой фантастическое отображение действительности. Теперь только стало извест-

но, что это самая искренняя его исповедь, в изумительном поэтическом откровении освещающая всю его жизнь. Мы узнали это только теперь, — когда разоблачена его тайна.

Это началось еще в детстве: на Аннслейском холме играют двое детей. Они принадлежат к двум враждующим семьям. Дед Байрона убил на дуэли одного из предков Марии Чаурс, — внуков соединяет дружба. Она — наследница графской короны, он — потомок Байронов, которые пришли в Англию с Вильгельмом и его норманнами. Ромео и Джульетта, которые любовью могли бы искупить ненависть двух враждующих родов.

Но шестнадцатилетний Ромео — неуклюжий, робкий мальчик, хромой, неловкий, и Джульетта издевается над ним, когда он заговаривает о браке. Она избрала другого, Джона Местерса, «handsom man»¹⁾, дворянина, настоящего рыцаря, любящего охоту и бешеную скачку. Когда мать сообщает об этом Байрону, он бледнеет и отворачивается. Никогда больше он с ней не разговаривает.

Через несколько лет он опять встречается с ней — с «morning star»²⁾ Аннслея. Она замужем, у нее дети. Она любезно приглашает его к себе в дом. И он видит ее в обществе супруга, нежной матерью, — описание этих впечатлений принадлежит к числу его лучших стихов, — и он с новой силой чувствует свою потерю. В Джоне Местерсе пробуждается подозрение, он препятствует их встречам. И Байрон покидает страну, — он предпринимает странствия Чайльд Гарольда.

В Англию возвращается другой человек. Это уже не тот неуклюжий, неловкий мальчик: он великий поэт,

1) Красивый мужчина.

2) Утренняя звезда.

знаменитый, боготворимый обществом, избалованный женщинами, в блеске своей красоты, соблазнительный и неотразимый. И та, с которой он вновь встречается, тоже иная — разочарованная в своем муже, живущая вдали от него. Неизбежное свершается. Некогда оттолкнувшая его теперь открывает объятия, его страсть побеждает ее сопротивление. Никто, даже самые близкие друзья не подозревают об этой связи. Обычно легкомысленный, он проявляет величайшую осторожность. Стихотворения, обращенные к ней, он называет «Стихи к Тирзе» — и создает впечатление, будто они относятся к усопшей. Своим друзьям он рассказывает — *ad referendum*, что Мэри пожелала с ним увидеться, но он отклонил ее приглашения. Нарочно он завязывает другие связи. Здесь, где он искренно любит, он — обычно тщеславный — заботливо скрывает истину, чтобы уберечь любимую от гнева супруга и общественного мнения.

Но их связь не остается без последствий. Положение ужасающее. Никогда в его дневнике и в письмах к Муру не было столько растерянности, как в эти месяцы ожидания. Постоянно он опасается, что муж раскроет тайну: предвидя дуэль, он составляет завещание. Его возлюбленная, еще не разведенная, неизбежно будет скомпрометирована.

И тут сестра — Аврора Лэй — совершает героический акт самопожертвования, бросающий тень на ее доброе имя в течение целого столетия, обращающий всю ее жизнь в цепь унижений и мук, — ради брата она жертвует собой, спасая честь его возлюбленной. Подробности не вполне выяснены, — может быть никогда и не будут выяснены, так как эти последние события не закреплены на бумаге. Она берет к себе в дом трепещущую женщину, выдает ее положение за свое. И дитя Мэри Чауорс рождается Медорой Лэй.

Обман удается. Через несколько недель Байрон может свободно вздохнуть—

Our secret lies hidden
But never forgot ¹⁾

Мэри Чаурс возвращается домой. Джон Местерс далеко и ничего не подозревает. Напрасно Байрон пытается окончательно завладеть возлюбленной. Это странно, но она отвергает его. Какой-то таинственный страх перед этим человеком вновь охватывает ее. И она сама—как он рисует в своем стихотворении—толкает его на брак с нелюбимой женщиной. Вскоре после этого затуманиваются ее умственные способности, и она умирает в болезненной меланхолии.

Странно читать стихи Байрона, когда знаешь все это! Возлюбленная, «усопшая без могилы»—«one without the tomb», погибшая по его вине; сестра, принесшая себя в жертву—«I loved her and destroyed her» ²⁾—жутко реальные образы. Как Гете, перевоплотившийся в Фауста и в Клавиво, он преувеличивает свою вину, снова окунаясь в жизнь, страдая и наслаждаясь, в то время как любившие его остались разбитые, «Sufferers of my sins» ³⁾. В сознании ужасной действительности он восклицает

My injuries came down on those, who loved me,
On those whom I best loved ⁴⁾.

Но их судьба его не удерживает. Всем он жертвует своему творчеству: люди становятся тенью, которые мрачно гнетут его память,—но это лишь тени. И в то время как он

¹⁾ Наша тайна скрыта,

Но живет в нашей памяти.

²⁾ Я полюбил и погубил ее.

³⁾ Страдающие за мои грехи.

⁴⁾ Мои грехи пали на тех, кто меня любил,

На тех, кого я больше всех любил.

в Венеции рисует эти переживания в библейских трагедиях, дома у его сестры разыгрывается другая драма, более значительная и более героическая, чем все созданные им.

КОШКА И МЫШКА

Байрон бежал, его сестра осталась покрывать его вину. Лэди Байрон чувствует, что в руках Авроры находится тайна, которую она старается у нее вырвать. Ее неизмеримая ненависть жаждет доказательств, очевидных, непреложных доказательств («to crush Lord Byron»¹⁾). Она окружает себя адвокатами и советчиками, вооружается параграфами и статьями; и, чтобы поразить мужа, она направляет стрелу против его сестры.

Но открытое нападение было бы опасно. Чтобы вырвать у нее тайну рождения Медоры, ей необходимо сблизиться с ней. Начинается игра самого безудержного лицемерия: лэди Байрон прикидывается дружески преданной Авроре Лей. Она пишет ей—под диктовку своих адвокатов—нежные письма и приглашает женщину, которую она подозревает в кровосмесительной связи с ее мужем, к себе в дом; она гладит ее бархатной лапкой, чтобы в удобную минуту выцарапать у нее когтями какие-нибудь доказательства. Она просит ее, под лицемерным предлогом интереса к жизни мужа, показывать ей письма, которые Аврора получает от брата, и копирует их листок за листком. Их беседы подслушиваются за дверью. Следуя указаниям своих советчиков («to show all kindness to Aurora»²⁾), она скрывает свою ненависть под маской умиротворенной доброты, все глубже она втягивает Аврору в сети доверия. Мышеловка готова, пружина натянута.

¹⁾ Чтобы раздавить лорда Байрона.

²⁾ Быть очень любезной с Авророй.

И Аврора попадает в мышеловку. Но не по наивности, а вполне сознательно: на лицемерие она отвечает лицемерием. Следуя предостережениям друзей и советам брата, она притворной доверчивостью отвечает на притворную доброту. Коварному, лицемерному упорству этой женщины она противопоставляет страстную выдержку своего спокойствия; с изумительным мужеством она окунается в ад вечных пытываний и перекрестных допросов, — лишь бы отвлечь подозрение от Мэри Чауорс и сохранить последнюю тайну, доверенную ей братом. Истинная мученица, подобно Себастьяну, она предоставляет стрелам ненависти проникать в ее душу, но зубами она цепко держит тайну. Невыразимо ее страдание. «Никто никогда не узнает, сколько я выстрадала из-за этого злосчастного события; с тех пор я не имела в своей жизни ни одной спокойной минуты», пишет она одной из подруг; и даже Байрон из своей дали не чувствовал всего ужаса этих мучений.

Почти десять лет длится эта тайная борьба. Подобно Кримгильде и Брунгильде, стоят они друг против друга, обе знающие о тайне, обе полные ненависти друг к другу, но в притворной дружбе. Это игра на жизнь и смерть. Только лэди Байрон, заблуждаясь, думает, что она играет Авророй, в действительности же Аврора играет ею. Ибо только она одна знает тайну и неумолимо хранит ее.

СПЛЕТЕНИЯ

Все опаснее становится борьба. Целыми днями они беседуют, подстерегая каждое слово. Аврора терпит неискреннюю любовь лэди Байрон и знает, что за ней скрывается ненависть. Она терпит ее расспросы и знает, что это грабеж. Она любезно разговаривает с ней, зная, что подозрения

подстерегают каждое движение ее губ. Кто в силах описать весь ужас этих бесконечных часов?

Все яростнее они впиваются друг в друга. Тщетно мать лэди Байрон советует ей быть настороже. «Берегись ее, — пишет она, — если я хоть сколько-нибудь понимаю человеческую душу, эта женщина должна безжалостно ненавидеть тебя». Но лэди Байрон жаждет доказательств. Она не уступает в своей опасной игре.

И вот настает ужасная месть Авроры. Преследуемая начинает мучить преследовательницу. Все дальше она гонит ее по неверному следу кровосмешения, все глубже она втягивает ее в гушу предположений. Одним словом правды она могла бы вырвать из ее души лживое жало бушующей ревности. Но нет! Она питает, она укрепляет это неверное подозрение. Время от времени она бросает слово лживого признания, жажда лэди Байрон подхватывает это доказательство, — и уже Аврора отнимает назад брошенную приманку. Она сознается, — но не письменно. Она показывает ей любовное письмо Байрона, которое в действительности было обращено к Мэри Чауорс, и спрашивает ее, что ему ответить. Лэди Байрон, неудовлетворенная этим документом, советует ей ответить Байрону страстным письмом, чем надеется вызвать его на полную откровенность. Аврора не следует ее совету. Тщетно лэди Байрон пытается побудить ее к решительным действиям — следовать за братом, чтобы кровосмесительная чета «*soror et conjux*»¹⁾ открыто предстала перед светом. Снова Аврора отступает — и снова дает пищу подозрениям. Она беспрерывно играет с преступлением, и, не останавливаясь перед тем, что ложное подозрение — как это и случилось в действительности — опозорит ее имя, она все глубже втягивает лэди Байрон

¹⁾ Сестра и супруга.

в заблуждение. и если лэди Байрон сообщала свои подозрения Бичер-Стоу и другим, то эта ложь была сознательной ложью. Ибо Аврора победила. Вплоть до смертного часа лэди Байрон была уверена в кровосмесительной связи ее мужа; настоящей тайны она не знала, — не узнала имени Мэри Чауорс.

В 1824 году умирает Байрон. Еще раз встречаются обе женщины, чтобы сжечь его мемуары. И личины падают. Обнаженная ненависть стоит лицом к лицу с ненавистью. Тот, из-за кого они разыгрывали эту ложную дружбу, ушел навеки. В их взорах горит настоящее чувство: непримиримая смертельная ненависть.

ЭПИЛОГ

Они больше не встречаются. Они больше не пишут друг другу. Они старятся и чувствуют приближение смерти. Поколение сменилось, память Байрона покрыта славой, Мэри Чауорс умерла, за ней последовала ее дочь Медора.

Еще раз лэди Байрон пытается вырвать тайну, — или, вернее, купить ее, — предлагая Авроре завещание в пользу ее детей. Она не хочет умереть, не приобретает уверенности. Женщины встречаются еще раз, но каждая в сопровождении свидетелей, вооруженная до зубов. Подобно Елизавете и Марии Стюарт, они пытаются в память былой дружбы притти к мирному соглашению, — но горячо вспыхивает ненависть. Аврора холодно отвергает все подозрения, отрицает все свои признания. Больше ей некого охранять. Разочарованная, уходит лэди Байрон. И она умирает, не узнав истины.

Но тайна, их общее детище, переживает их всех, вырастает, начинает говорить, обегает весь мир, поднимает

смятение и возбуждение. Но теперь и ее путь закончен. Загадка разгадана, игра закончена; раскрытая тайна теряет притягательную силу. Еще не распечатаны документы, но они могут лишь пополнить то, что известно уже сейчас. Интерес к тайне Байрона, переживший три поколения, исчерпан. И новые вопросы стоят теперь перед новым миром.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Лепорелла.....	7
Незримая коллекция.....	39
Принуждение.....	59
Случай на Женевском озере.....	105
Страх.....	117
Тайна Байрона.....	137

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ,

единственное на русском языке, разрешенное автором,
с предисловиями

**М. ГОРЬКОГО
И АВТОРА,**

специально написанными для русского издания, с критико-биографическим очерком Рихарда Шпехта (Вена) и портретом автора, сделанным для Изд-ва «Время» **ФРАНЦЕМ МАЗЕРЕЛЬ (Париж).**

- Т. I. ЖГУЧАЯ ТАЙНА.** *Содержание:* Рассказ в сумерках.— Губернантка.— Жгучая тайна.— Летняя новелла.
Изд. 4-е. Стр. 208. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. II. АМОК.** *Содержание:* Амок.— Женщина и ландшафт.— Фантастическая ночь.— Письмо незнакомки.— Улица в лунном свете.
Изд. 4-е. Стр. 256. Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 80 к.
- Т. III. СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ.** *Содержание:* Двадцать четыре часа из жизни женщины.— Закат одного сердца.— Смятение чувств.
Изд. 4-е. Стр. 224. Ц. 1 р. 30 к., в переплете 1 р. 60 к.
- Т. IV. НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.** *Содержание:* Лепорелла.— Незримая коллекция.— Принуждение.— Случай на Женевском озере.— Страх.— Тайна Байрона.
Изд. 4-е. Стр. 260. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. V. РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ.** *Содержание:* Легенда о сестрах-близнецах.— Глаза извечного брата.— Лионская легенда.— Рокровые мгновения: Миг Ватерлоо.— Мариенбадская элегия.— Открытие Эльдorado.— Смертный миг.— Борьба за южный полюс.
Изд. 3-е. Стр. 176. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.
- Т. VI. ТРИ ПЕВЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ.** — Казанова.— Стендаль.— Толстой. Изд. 3-е. Стр. 320. Ц. 1 р. 90 к., в переплете 2 р. 20 к.
- Т. VII. ТРИ МАСТЕРА.** — Достоевский.— Диккенс.— Бальзак.
Готовится к печати.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:

«Стефан Цвейг—один из наиболее сейчас распространенных в Германии беллетристов—обязан своей популярностью действительно виртуозному литературному письму».

«Печать и Революция», 1926 г., № 3.

«Стефан Цвейг—один из лучших писателей Запада, и мы горячо рекомендуем его молодому поколению. Цвейг покоряет, прежде всего, своим литературным талантом. Самые щекотливые темы Цвейг передает иногда прямо с потрясающей силой, всегда с поразительной тонкостью и чуткостью».

«Смена», Ленинград, 16. V. 1927 г.

«Это только средневековые умело так взволнованно рассказывать о любви, страстной, всепожирающей любви, полной страдания и самоотречения, неразделенности и жертвенности... Но невольно приходят на ум именно эти средневековые легенды, когда зачитаешься рассказами Стефана Цвейга».

«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1925 г., № 312.

«Автор подходит к своей теме с великой чистотой, с глубокой серьезностью и, всюду говоря об Эросе, никогда не унижается до низменной эротики».

«Жизнь Искусства», Ленинград, 1925 г., № 29.

«Стефан Цвейг—прирожденный художник, творчество которого не зависит от войны или мира. Лирик, новеллист, критик, драматург, рассказчик и переводчик, Стефан Цвейг рано достиг известности, заставляя с высоким мастерством звучать любую струну».

«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1927 г., № 37.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

ВЫШЛИ В СВЕТ:

ДЖОЗЕФ КОНРАД
НОСТРОМО

РОМАН

Перевод с английского Марка Волосова

Обложка работы С. М. Пожарского

Стр. 272. Цена 2 р. 85 к., в переплет 25 к.

«По общему мнению западно-европейской критики — Джозеф Конрад один из самых интересных прозаиков последних лет. Конрад — не новатор; он целиком примыкает к классической прозе XIX века, точнее — к Флоберу и Мопассану; его оригинальность — в способе изображения, в чрезвычайно гибкой и утонченной композиции и в стиле, более сдержанном, чем он мог бы быть. Конрад — художник больших замыслов, глубокого знания и беспощадного анализа».

«Печать и Революция», 1925 г., № 2.

АНН ПАРРИШ
ВЕЧНЫЙ ХОЛОСТЯК

РОМАН

Перевод с английского М. И. Ратнер

Обложка работы М. А. Кирнарского

Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

«Узкий семейный мирок, замкнутый тесный круг будничных переживаний и затаенных личных драм изображен автором с большой художественной силой и психологической глубиной. Действующие лица — живые люди; каждый имеет свое индивидуальное лицо. Быт американской провинции — скульптурно выпуклый. Книга читается легко».

(Из отзыва Библ. Комиссии Научно-Метод.-Совета ЛГОНО, № 1435).

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

